Арсений Гончуков

НАД ГОРОДОМ ГОРЬКИМ

Повесть

*Памяти моего отца*

*Все места и здания реальны. Даже если их сегодня не существует*

Площадь с круговым движением напоминала сплюснутую с боков пластинку. Машины, мотоциклы, грузовики, вечный двигатель города крутился без подзавода. В центре площади заброшенные клумбы, их давно забили размашистые сорняки. Зато здесь, посреди стремительной, неостановимой дороги, островок девственных джунглей, куда не ступала нога человека. Вокруг острова светлячками кружатся зеленые огоньки такси — лампочки за ветровыми стеклами на желтых Волгах.

«Взять бы такси и уехать», думал Лусканов и сразу вспоминал: «У меня свое такси! Где Игорь? Я же сказал, что сегодня задерживаться не буду...»

Он стоял на площади Лядова там, где машины вылетают из раскрученной пращи кольца на Окский съезд, чтобы дальше падать по склону вниз, к Молитовскому мосту через Волгу, что омывает широкий бок Канавинского района.

За спиной Лусканова высилось серо-черное здание, какие строили в советское время в качестве, как бы сегодня сказали, офисных центров. Огромные панорамные окна с алюминиевыми рамами, длинные устланные линолеумом «под паркет» (а иногда и *на паркет*, и тогда чувствовался пыльный запах старого дерева) коридоры, в стенах которых темнели деревянные или перетянутые кожзамом двери. В конце коридоров выстуженные туалеты в белую клетку кафеля и из-за находящейся в вечном движении улицы завешенное, будто тюлем, серой пылью окно. Между этажами задумчиво ныли и со скрипом потягивались умственно-отсталые лифты. С лестничной клетки в середине коридора дул сквозняк, двери там неизменно настежь — доводчики советского производства болтались над головой ножками саранчи.

Просторный и прохладный кабинет директора Владимира Михайловича Лусканова располагался на седьмом этаже, который весь был отдан УПТК «Нижегородстройресурс». Пятнадцать лет Лусканов проработал в местной структуре Минстроя СССР главным инженером, снабженцем, обеспечивающим многочисленные горьковские, а потом и нижегородские стройки необходимыми строительными материалами со всего Союза, от краски, гвоздей и металлической рейки до труб, арматуры, цемента, щебня, железобетонных блоков и плит. Сотни наименований, все, что было утверждено Госпланом СССР и шло на стройки баржами, фурами и эшелонами из других регионов и республик, проходило через руки Лусканова, его феноменальную голову, умеющую запоминать тысячи цифр и сотни контактов, во времена, когда главными инструментами руководителей были ручка, карандаш, бумага и телефон с ребристой тяжелой трубкой на пружинном проводе. «Владиммихалыча» знали по всему Союзу, а весь Союз «до самых до окраин» знала его рыжая кожаная с желтыми латунными уголками, похожая на обмылок, записная книжка — потертая, разбухшая, бездонная.

Десять минут назад закончился рабочий день, потемневшие медные стрелки на настольных часах незаметно пришли в нужное положение, вытянувшись солдатиком — одна вверху, другая внизу— и Лусканов вышел из здания, чтобы сесть в служебную серую Волгу с округлой мордой и квадратными фарами, но водителя Игоря не было.

Посмотреть на Лусканова со стороны, его образ, повадки — советское время не кончилось, Союз не распался. Серый неброский пиджак, остроносые ботинки, все нестарое, чистое, ухоженное, но форм неидеальных, фабричных, наших. Брюки с выглаженными стрелками из-за сидения целый день в кресле покрылись лучами складок, легкая черная водолазка, схватывающая шею плотным кольцом и создающая пьедестал для головы, начинала едва заметно пахнуть по́том, чего аккуратный и чистоплотный Владимир Михайлович не терпел.

Большеголовую, с долгим туловищем с небольшим животиком и короткими ногами фигуру своего пятидесятилетнего шефа, деловито, собранно стоящего у дороги, водитель Игорь заметил издали, Лусканова он замечал даже боковым зрением, да хоть затылком. Но сигналить не стал, этих «окриков» начальник не любил. Подъехал, остановился. Владимир Михайлович сел, привычным движением бросил большую кожаную папку на заднее сидение, кивнул и басовито, но очень тихо, почти неслышно, сказал:

— Домой.

Волга взрыла густо и глухо, с легким металлическим дребезжанием, и они поскользили по площади на разворот. Жил Владимир Михайлович в престижной верхней части города в Печёрах в новом доме три дробь один по улице Фруктовой.

Когда он лег на нее и она податливо приподняла и раздвинула ноги, и косточками таза он, худой и тонкий, уперся в мякоть внутренних сторон ее бедер, и она положила ладони на его стриженный затылок, и c нажимом провела вверх, он возбудился сразу, сильно, и все случилось быстро, бурно, только судорога тряхнула его... Медленно просыпаясь, как будто волна сна откатывалась и возвращалась в море, оставляя его лежать на песке начинающегося дня, Саня вспоминал их близость накануне и Настины руки на затылке — надо же, простое ее прикосновение выжгло ему мозги.

Поставил выхоленные пододеяльным теплом ноги на блестящий ледяной линолеум и невольно вздрогнул — за окном синевой наливались осенние сумерки, день заканчивался, он проспал все, что мог! Саня вздохнул и упал на кровать снова, спешить было уже некуда. Но через пару секунд понял, что зверски голоден. Толкнул диван локтями в под дых, вскочил на ноги, и застучал голыми пятками, как культями, по коридору. На кухне щелкнула забралом хлебница, звонко громыхнул доспехами выдвижной ящик с ложками-вилками, чмокнул холодильник, чиркнула спичка, предвещая чайник, а потом и крепкий пересладкий чай, как любил Саня.

Обжигая губы, запивая неряшливый бутерброд с пахнущим салом желтоватым маргарином, Саня вдруг увидел в окне себя. Снаружи стемнело, а здесь, на табуретке, сидел сутулый, худой, хоть и с некоторым бицепсом, восемнадцатилетний пацан. Саня напоминал белую гипсовую статую, которая за день устала стоять в парке и решила присесть в сумерках чего-нибудь пожевать.

— *Так* ты с отцом разговариваешь? — сказал он после паузы, тщательно прожевав мясо.

— *Как* я c тобой разговариваю?

— А вот *так*! — и отец стукнул обглоданной, высосанной костью о тарелку, отодвинул ее и откинулся на угловой диванчик на тесной кухне.

Больше они не говорили. Отяжелевший от доброй половины кастрюли холодных щей с мясом Владимир Михалыч уставился в окно, занятый своими мыслями. Саня чай не допил, но сделал вид, что в чашке пусто, небрежно отставил ее и вышел.

Надо было забрать еду в комнату. Идея ужинать на кухне, когда отец пришел с работы, была плохой. Мать всегда говорила, отец как хищник, любит есть один, не надо ему мешать.

Не то чтобы они постоянно ссорились и воевали, так, переругивались. Горьковатый запашок недовольства друг другом будто в духовке начал подгорать пирог. Так бывает, когда у близких людей есть конкретные ожидания друг от друга, но они не могут сбыться.

Отец хотел, чтобы сын становился серьезней, чтобы начинал думать о будущем, потому что следующим летом поступать, но куда поступать? Отец хотел, чтобы сын определился с ВУЗом и в тайне ждал, когда Саня обратится к нему за помощью, например, за деньгами на подготовительные курсы, и тогда бы они сели, все обсудили... И отец порекомендовал бы, куда бы он хотел, чтобы сын поступил, что ему бы подошло с точки зрения жизненных перспектив. Тут надо все-таки знать жизнь. Иметь на нее расчет. Чем заниматься? Кем работать? Чего добиваться? «Пойми, кем ты будешь через двадцать лет — закладываешь ты это сегодня, буквально сейчас, в эти конкретные дни», — фраза, которую отец хотел сказать родному сыну, отчетливо звучала в его голове. Но вместо идиллической картины у Лусканова сложилось ощущение, что Сане ничего не надо, думать он ни о чем не хочет, а к отцу не обращается, потому что его в грош не ставит... «И что с ним будет? Да наплевать! Ему наплевать — мне тем более!» — говорил Лусканов в сердцах. Хотя конечно это была неправда.

У Сани обида была другая. Он шел в последний, одиннадцатый класс и действительно, давно пора было планировать поступление, потому что, и Саня об этом беспокоился, где-то учиться нужно. Но где? Сане никакие варианты не нравились. Ни на что не вспыхивала душа. Хотя в итоге он куда-то поступит и обязательно будет учиться, и проведет еще пять лет за партой (а в ВУЗах тоже парты?), чтобы получить диплом и пойти работать, чтобы кормить себя, семью, чтобы самореализовываться. Как и расчертила жизненные задачи мать, влияние которой на сына было абсолютно. Только куда? Истфак? Филфак? Журфак? Лобач? Пед? А может быть инъяз на Минина — проезжаешь на автобусе мимо и видишь тонких хрупких, необычайно дорого и элегантно одетых девочек, которые учат там английский, французский, немецкий, видимо, дочки (только ли дочки?) дипломатов и бизнесменов, работающих с зарубежными компаниями. Таких развелось много... А еще говорят, в этом инъязе учился легендарный режиссер Алексей Балабанов, правда, это было задолго до Перестройки... Или — куда? Кем? Может, в Политех? Но принять решение Саня не мог, потому что в глубине души, неосознанно, вопреки установкам, желал совсем другого, — не учиться и пять лет просиживать штаны, а чтобы отец ввел его в то, чем занимается прямо сейчас и за чем будущее страны (Саня чуял, все чуяли!) Горячий, нетерпеливый, он хотел в коммерцию, в большой бизнес, он мечтал, чтобы отец начал посвящать его в тонкости коммерческого (теперь уже!) строительного снабжения, которым занималось УПТК «Нижегородстройресурс». Но почему-то отец даже не рассматривал этот вариант. Не из-за слепоты или невнимательности к сыну. Просто Лусканов, кажется, даже не осознавал, что занимается бизнесом. Он всю жизнь служил советскому народу, государству, а не себе. Отец не думал строить собственный бизнес. Не хотел делать из сына предпринимателя. Да и сам, похоже, не собирался им становиться.

Что это было, прихоть, протест, гордыня или страх перед новым миром, осталось навсегда тайной. И роковой ошибкой отца, сведшей его в могилу, как всю жизнь думал сын.

Вопреки материным наставлениям Саня не понимал, зачем ему идти в институт, на какой-нибудь филфак, читать пыльных древних и таких далеких от сегодняшнего дня Гомера и Сумарокова, когда в стране, вдруг ставшей Российской Федерацией, повсеместно открываются *фирмы*, *конторы*, «ооошки», а неоперившиеся пацаны становятся *фирмачами*, *коммерсами*, директорами и президентами компаний, бросая под свежепозолоченными вывесками *офисов* подержанные, но такие желанные мерседесы, ауди и особенно угрюмо-злые с двойными фарами «бэхи» — автомобили немецкой марки BMW. Двадцати- тридцатипятилетние мальчики, как в бабочек, превращались в нуворишей, становились новыми русскими, хозяевами жизни, всесильными воротилами бизнесов, портов, гостиниц, заводов, или коммерсами помельче — владельцами рынков, ларьков, палаток, но у них были деньги, власть, дело, а значит и уважение, но главное — широкая магистраль жизни впереди, да что там, взлетная полоса! Время было такое, оголтелое, казалось, можно все, воздух свободы пьянил, сводил с ума, смешиваясь с кисло-тканевым запахом баксов, кожаным обшивок новеньких тачек, духом ночных ресторанов, девочек в юбках не шире пояса, короче, бесконечного счастья.

Нет, Саня был скромным, приличным сыночком из интеллигентной семьи, где голубенькие томики собрания сочинений Чехова были пухлыми от частого чтения. Он не хотел только быстрых денег или непременно стать директором, он сознавал, что путь непрост, и — обратную сторону быстрых успехов эпохи — бандитов в малиновых пиджаках с толстыми золотыми цепями на выях, как и отец с матерью, терпеть не мог. Саня только не понимал, почему родной отец не хочет передать ему «дело всей жизни», научить, взять к себе, ну, хотя бы попытаться... Возможно, к противоречивому желанию сына примешивалась острая и хорошо скрываемая потребность в отцовской любви. И еще — неужели отец считает его за пустое место, почему не хочет мысли допустить, что они могут быть на равных? Когда-нибудь. В будущем. А может быть и партнерами? Думая об этом Саня даже спину нервно выпрямлял.

Поговорить об обоюдных желаниях они с отцом не могли, между ними как будто стояла тяжелая непробиваемая стена — неловкости, самолюбия, неумения открываться, быть нежным, выражать чувства. Раскрыться навстречу близкому, любимому и бесконечно любящему человеку (чем сильнее — тем труднее), казалось самым невозможным на свете поступком. И это будет их общая роковая ошибка, думал Саня потом всю жизнь.

— Ма-а-альчики! Вы дома? А я пришла! — сразу после скрипа входной двери послышался грудной звонкий голос мамы. Саня вышел из своей комнаты в длинный коридор, но к матери не пошел, махнув ей рукой: «Привет!» Сумок у нее тяжелых не было, а отец еще на кухне, сейчас будут сидеть и пить кофе. Саня лег на диван, закрыл глаза. Очень было бы кстати сейчас заснуть и проспать еще пару суток, но спать не хотелось. Придется лежать, думать. Думать о жизни.

Лежал, лежал, ничего не придумал. Привычный внутренний вопрос о ВУЗе как волейбольный мяч долетал до сетки, но был слаб и не перескакивал ее. Саня хотел снова представить вчерашнее с Настей, запустил руку в трусы, но увидел литую золотистую внешнюю поверхность девичьего бедра с изящной чашечкой коленки, вновь почувствовал Настины пальцы на затылке, и дальше видение не двинулось, застряло, и тут же легкая и бесплотная дымка воспоминания начала таять...

Приподнялся на диване, крутанулся, спустил ноги. Посмотрел в окно и вдруг громко и отчетливо произнес: «Над городом Горьким все ясные зорьки». Услышал свой голос. Тут же расслышал с кухни отцовский басок и смех матери. Слова старой песни, пойманной у ларька, где он вчера полчаса дожидался Настю, въелись намертво, хотя успели поднадоесть. «Над го-о-родом Го-о-рьким, где я-я-сные зорьки, в рабочем поселке подруга живе-е-т...» — это пелось густым, сладковатым, нежным баритоном, пересыпанным мелкими искрами помех на старой пластинке. Песня, в которой Нижний Новгород именовался старым именем Горький, цеплялась и чем-то неясным притягивала, какой-то нехитрой печальной загадкой. Устав напевать, первую строчку припева Саня проговаривал текстом, сухо, металлически. Это было непривычно, даже забавно. «Над городом. Горьким. Все ясные. Зорьки».

Саня подошел к окну. Желтые, горячие, неровные, как оладьи, окна дома напротив висели в неразличимой темноте. Пронизанные светом шторы, большие разноцветные люстры, фигуры людей, мелькающих черными спичечными тенями в глубине комнат.

Отзвуки разговора отца с матерью с кухни хорошо ложились на картинку перед глазами. На мгновение Сане показалось, что родители там, в доме напротив, вон они, сидят за столом. А он где-то далеко, наблюдает за ними как будто снизу, из глубины — из темной синей толщи океана смотрит на мерцающее на поверхности солнце, его уютный кухонный свет.

 — Да-а-а, да-а-а-а, я помню, помню, а ты сам-то помнишь, как Дима ванну, ванну... завалил всю? — мама Альбина смеялась, хотя говорила негромко, будто боясь кого-то разбудить в глубине квартиры, — Это было что-то! Володя! Но как он? Откуда это богатство взял?..

— Так мы ж с ним ездили, не помнишь уже? — Володя, как уважительно называла Лусканова жена, сидел сытый, довольный, и совсем домашний, даже разрумянился от веселых воспоминаний.

— Да помню! Отлично помню! Особенно как я до утра с этими карасями...

— Карп, карп только...

— Да какой до утра! Сутки! До вечера следующего дня! Ты-то с Димой сразу усвистел, а я тут как в рыбозаготовочном цеху, в мыле, в слизи этой, фу! Как вспомню!

Мама смеялась отрывисто, колокольчиково, отец посмеивался беззвучно, только изредка глухо гыкал.

«Дядьдим» в произношении маленького Сани был первым и навсегда остался легендарным водителем отца, молодого советского начальника. Широкий, приземистый, крепкий, как пень векового дуба, при этом живой, энергичный, с громадными крагами рук и быстрыми мелкими глазками, дядя Дима был, как говорила мама, настоящий «рвач». Говорила она это ласково, со смешком, но точнее не придумаешь. Рассекая на своем вечном зеленом Уазике «буханке» по Нижегородской области во всех мыслимых направлениях, он знал родной край так же хорошо, как подкладку неизменного грязно-зеленого армейского бушлата. Природа для Дядьдимы была, как сказали бы сейчас, одним большим супермаркетом. Грибы: белые, лисички, опята, подберезовики, грузди, волнушки; рыба: осетр, стерлядка, чехонь, сом, лещ, язь, карп, карась, окунь, судак, щука; ягода: калина, брусника, земляника, клубника, клюква, черника, голубика, ежевика, калина, шиповник; зверь: утка, фазан, куропатка, глухарь, заяц, волк, кабан, лось и даже медведь, и далее, и далее, а еще где, в каких деревнях и дворах, и закоулках самые дешевые, лучшие — молоко, сыр, масло, творог, яйца, а еще телятина, свинина, курица, утка, гусь, баранина, и все то, что делают из них: шпиг, ветчина, домашняя тушенка, сосиски, балык, паштеты, а еще разнообразные целебные травы, знакомые егеря и лесники, заповедные болота, по кругу усеянные крепышами подосиновиками и клюквой размером с монету, лесные девственные озера, где никогда не бывал человек, и которые Дима с мужиками вычерпывал бреднем до самого ила, промышляя жирного дикого карпа сотнями килограммов, так же, как они собирали грибы, — Дима рассказывал, как белые на нетронутых полянах они натурально косили косой, или специальными граблями собирали клюкву с болотного мха, красного от ягоды, как лоснящийся взбухший волдырь...

Дядя Дима знал и любил природу родного края как до последней жилки любит хищник раздираемую тушу убитого зверя. Он ничего не стеснялся. Зарплата у водителя небольшая. Зато служебный уазик, как он говорил, «под жопой», и главное, государственный халявный по путевкам, с которыми Дима вечно мухлевал, бензин. Топливо, умножаясь на термоядерную энергию рвача, конвертировалось в тазы, ведра, мешки и набитые битком багажники редких деликатесов щедрых заповедных русских лесов, полей и рек. Однажды с шефом они привезли карпа, темно-медово-золотистого, тяжелого, круглого, как перезревшие головы подсолнуха. Привезли на Фруктовую, вывалили и оставили. Полная ванна чешуйчатых жирных слитков. До краев. Невиданный во времена пустых прилавков деликатес, еще полуживой, свежий, пахнущий сладкотлеющей озерной тиной. Для рыбаков гордость и добыча, для матери — радость, конечно, но... настоящая каторга, да не на день! до ломоты в спине и кровавых ссадин на вымокших морщинистых ладонях.

— Зато соседи! Всех соседей ты накормила! Фруктовая, Усилова, Яблоневая, Родионова — все рыбу нашу ели! И заливное, и жареха со сметаной... — отец улыбался и качал головой с добродушным укором.

— Нет, ты подумай, какие товарищи интересные! Привезли, вывалили и умчались! А я как вошла да взглянула на это безобразие... Ванна! И в ней море из рыбы шевелится... Я испугалась страшно!

Саня уже слышал эту историю, но с удовольствием послушал еще раз, стоя в коридоре рядом с кухней. Когда мать закончила, он отошел на цыпочках назад к своей комнате, чтобы не заметили, что он тут стоял подслушивал, и пошел наново — уже свободно и громко, прошел мимо кухни, и скрылся в ванной. Отец и мать на него не обернулись. Саня закрыл дверь, включил воду, посмотрел в зеркало и улыбнулся. Когда — а это случалось редко, все реже и реже — родители были так простодушно веселы и счастливы друг с другом — он чувствовал с ними радостное единение. Как будто они не родители, а самые близкие друзья.

\*\*\*

Он проснулся в шесть утра и было еще темно, подслеповатый октябрь только-только встал и неверным шагом двинулся умываться, нащупал выключатель, щелкнул, зажмурился, затем посмотрел на себя в зеркало — опять бриться. Хотя бриться Владимир Михайлович любил, долго и тщательно скатывая тонкие снежные ковры пены с загрубевшей шеи, щек, оставляя под носом русо-рыжий островок пушистых усов.

Бреясь, услышал в коридоре — хрясь (дверь из комнаты), бу-бум-бу-бум-бум (шаги по коридору), бам (дверь в туалет), тресь (ручка об стену), щелк (крышка унитаза) и затем — неприличный звон струи, после чего все тоже самое, только в обратном порядке до самого скрипа дивана. «Вот как у него так получается?! Как Брюс Ли с пятью ногами Саня спросони!», думал отец.

После душа, где Лусканов тщательно мылил бледное тело, посвежевший, распаренный, он возвращался в комнату, зажигал свет и начинал одеваться, вершить утренний ритуал. На стуле с вечера его ждала похожая на белесое привидение рубашка, выглаженная матерью идеально, так, будто на ней и швов нет, только торчал твердой полукруглой крепостной стеной воротничок. Еще в ванной он мазнул дезодорантом шею, грудь и кожу под мышками и теперь было важно, чтобы рубашка не прилипла к телу.

— Голова не болит? — спросила жена глухо, с другого бока.

— Спи, — ответил Лусканов не очень-то ласково.

Вчера поздно вечером, как это часто бывало последние год-полтора, он на ночь выпил «пару пива», чтобы расслабиться и быстро без мыслей заснуть, но утром напоминания об этом были неприятны.

Постояв у окна пару минут, Лусканов наконец скинул полотенце с бедер, и начал облачаться в доспехи — брюки с идеальными, острыми, как нож, стрелками, пиджак с вычищенными щеткой лацканами, разложенный на груди и ловко затянутый классический узел синего в белую крапинку галстука, наконец, начищенные женой до светящихся змеевидных бликов ботинки, которые он надевал в квартире и ходил до самого выхода из дома, настолько они были чистыми.

Перед самым выходом зайти на кухню, ритуально постоять посмотреть в окно, и под напором новорожденного и твердого, как лед, ярко-серого осеннего света настроиться на новый рабочий день.

Лусканов никогда не завтракал, а только наливал чашку теплого чая со вчерашней заваркой, и бросал ее недопитой. Супруге оставлял на столе деньги на день, и, в лучшем случае буркнув «До вечера», одевал длинный плащ с вечно выскальзывающим легким ремнем, брал старый, черный, как нос собаки, портфель, и спускался вниз, где у дома смиренно ждал водитель Игорь. Лусканов появлялся в дверях подъезда и у Волги тут же срабатывал стартер.

Октябрь еще держался, стоял в заминке тишины, парил в прозрачном воздухе, сухости, готовый сорваться в грязную сырую вакханалию мрачного ноября. Ехать до работы было настолько просто, что добрался бы и слепой. Улица Родионова до площади Сенной, там нырнуть влево вниз в овраг и далее — очень длинная и очень прямая, рассеченная вдоль трамвайными линиями улица Белинского, она упиралась в кольцевую площади Лядова.

Парковались на служебной стоянке. Игорь, худой, мелкий, но при этом статный, с некоторыми манерами, мужичок, спрашивал шефа, как школьник учителя: «Владимир Михайлович, я деньком отлучусь на часок, жена просила отвезти ее с сумками...», но Лусканов не слушал, кивал, и фраза обрубалась хлопнувшей дверью. Оба знали, что до вечера вряд ли куда-то поедут, но и по формальной бдительности, и по строгости Владимира Михайловича Игорь должен был стоять внизу и ждать целый день, в машине, изредка запуская двигатель, если на улице было холодно. Впрочем, все чаще Игорь позволял себе размять ноги, подняться в приемную, пить с конфетами чай. И все-таки быть настороже — якобы в любой момент Лусканов мог поехать по делам, хотя неделя за неделей длились пустые серые дни и ехать было некуда, не к кому, незачем. Союз, а за ним и Минстрой СССР, прекратили свое существование. Дела в УПТК шли неважно.

Выйдя из машины, прижимая рукой папку (некоторые документы он носил с собой, не оставлял на работе, там много было в последнее время чужих глаз), другой рукой пытаясь поймать сзади пояс плаща, на пути к проходной Лусканов остановился, рассматривая свеженькую «девяносто девятую», о которой на днях ему говорил охранник. Белый жигуленок с длинным пологим капотом и прямоугольной кочерыжкой задницы стоял за углом, как будто прятался, хотя почти перегородил пешеходную дорожку. Окна в глухой тонировке, но переднее пассажирское приспущено. Лусканов пошел прямо к автомобилю, рассмотрев наконец, что написано на оторванном от коробки куске картона, прижатом дворником к лобовухе. Ручкой, густо, волосато было начеркано обычное в эти дни «КУПЛЮ ВАУЧЕРЫ. АКЦИИ. ДОРОГО».

— Вы откуда здесь такие красавцы? — крикнул Лусканов на подходе, громко, бодро, как хозяин территории.

Ему не ответили, он подошел размашисто, в плаще похожий на крупную птицу, заглянул в окошко. Там бледным ложным опенком торчала короткостриженая голова на тонкой шее. Узкий свод лба, острые глазки, нос-клюв, а под ним розовый шар, на который Лусканов посмотрел с недоумением. В следующий миг жвачный пузырь с ароматом малины лопнул.

— А чо, отец, случилось чо? Чо кричим?

Лусканов вмиг побагровел:

— Слышь, щ-щенок... Ты как разговариваешь...

В ответ дверь щелкнула и приоткрылась, тут же щелкнула и водительская. Лусканов отступил на шаг назад, из машины поднялся, извиваясь, как змея, тощий высокий «опёнок», с другой стороны вылез мужик покрепче, лет сорока пяти, с приделанным к русскому лицу армянским носом и густыми черными усами, которым было там тесно.

— Слышь, бать, а чо за суета? Какие-то вопросы?... — пережевывая слова вместе с жвачкой сказал опёнок, пока носатый обходил капот.

— Слышь, щенок, кто тебе тут батя? — невольно подражая манере гопника сказал Лусканов. Он говорил напористо, громко, что выдавало неуверенность.

— Кто тебе тут щенок? — каким-то удивительно высоким голосом злобно крикнул усатый, — А? За щенка расскажешь нам?!

Лусканов от такого окрика сделал еще шаг назад и едва не оступился, но вдруг его локоть попал в зажим — это была рука Игоря, дрожавшая, но схватившая его железными пальцами. Опёнок и усатый тут же остановились. Сзади за Лускановым кроме Игоря стояли чумазый механик из гаража соседнего гастронома Сеня, из кулака которого как бы невзначай торчал черно-красный щербатый гвоздодер, и вахтер Андрей Степанович, старший брат первого водителя Лусканова Димы. Представительство было внушительное, раза в два шире складных пассажиров «девяносто девятой».

— Че нагнетать-то, ребят? — тем не менее примирительно выкрикнул Степаныч и Лусканов посмотрел на него круглыми от возбуждения глазами, как будто видел его впервые. — Я ж говорил, сидите нормально, и нормально все будет... — закончил Степаныч, оставаясь с механиком Сеней. Лусканов с Игорем уже двинулись на работу.

— Е-мана... Мы вообще-то людям помогаем, скупаем эти бумажки у работяг, чтоб с голодухи не перемерли... — негромко сказал усатый, скользнув взглядом по монтировке Сени.

— Че эти черти тут делают, Андрей?! — крикнул Лусканов подбежавшему охраннику, расписываясь в журнале.

Андрей Степанович забежал за стойку с вертушкой, угодливо придержал журнал, чтобы не выскользнул из под руки Лусканова.

— Да как... Контор поблизости много, скупают... Сейчас везде так... Делают дела... — охранник запыхался и говорил на каком-то непонятном для Лусканова наречии, но тот разбираться не стал, бросил ручку и двинулся дальше.

— Ясно всё, — бросил Лусканов уже у лестницы, говоря сам с собой, и ничьих подтверждений ему не требовалось. В голову уже плыли, как рыбы в заводь, цифры, позиции, перечни, телефоны, которые ждут звонка и стройматериалов на свои объекты.

Охранник проводил шефа взглядом и тихо выдохнул. Ни он, ни Лусканов не понимали, что стоящие на улице всадники апокалипсиса, точнее, пародии на них, есть начало конца их привычного мира и даже сегодняшнего худого благополучия. Всадники не понимали этого тем более. Но по-звериному чуяли.

Владимир Михайлович вошел в приемную, там было прохладно, мрачно, из-за прикрытых темно-бордовых штор била узкая полоска света. Пахло бумагой и чем-то приятным женским. Желтый стол из ДСП, покрытой шпоном и толстым слоем лака, за которым сидела секретарша Людмила, был аккуратно прибран: ручки собраны в стаканчик, папка с документами завязана узелком, металлический календарь на столе предусмотрительно перекинут на сегодняшнее число. Между двумя торчащими дужками календаря пряталась помада в оранжевом тюбике и карандаш для ресниц. Плохо спрятала! Как и пушистую головку бледно-зеленого кактуса в тесном стаканчике, который Лусканов попросил убрать с глаз долой, не хватало у них в приемной еще кухонной живности... Но кактус воровато и по-детски выглядывал из-за громоздкой, похожей на корму круизного лайнера, печатной машинки «Ятрань».

Лусканов усмехнулся, повернул ключ и открыл первую обитую дерматином дверь, затем вторую, тяжелую деревянную, и наконец оказался в своем директорском кабинете — просторном простуженном продолговатом помещении с огромными окнами по одной стороне и глухими, от пола до потолка, шкафами под темное дерево по другой. В центре — Т-образный стол руководителя. На полу паркет, на потолке пенопластовые панели, имитирующие лепнину. Вся мебель была густо покрыта лаком, так, что под бледным утренним светом шкафы и поверхности светились яркой паутиной бликов, весь кабинет был будто облит водой.

Он открыл шкаф, снял плащ, поймав почти выскользнувший из петелек пояс, только повесил его на вешалку, как зазвонил телефон. Подошел к столу — с металлическим булькающим звуком трещал желтый аппарат, странно, из приемной, где только что никого не было.

— Люда? Ты здесь? Да. Что? Шляпников? Давай на пятницу. Срочное? Как интересно... Хорошо, запиши на четырнадцать ноль-ноль... У меня здесь. Нет? А! Нормально... Проветрюсь. В «Кладовой башне». Поужинаем, прогуляемся до «Оленя»... Да. Спасибо.

Лусканов положил трубку, она звякнула и затихла. В приемной хлопнул шкаф, видимо, Люда переобувалась. «Что понадобилось Шляпникову? Петр Василич, кажется... Точнее, Петя. Он же кооператор, в свое время ушел из Минстроя, сейчас мутит какие-то делишки темные с металлообработкой на Гидромаше, цеха арендует... Крышуют его то ли бандиты, то ли банкиры... Чего ему понадобилось? Нам он какие-то трубы доставал... И вентили для коллекторов турецкие, дефицитные. Когда Деловую строили. Микрорайон для нуворишей... Чтоб его...»

Вдруг Лусканов понял, как давно не был на Минина, на красивой и главной площади города. До которой от него минут пятнадцать идти. И тут же встревожился: и кафешка стекляшка с козырьком «Олень» и тесная «Кладовая башня» в древнем Нижегородском Кремле — а все это не позакрывали к чертовой матери? Новые власти, младореформаторы-демократы. Придешь, а там палатки с разноцветным китайским шмотьем.

Звон раздался теперь высокий, заливистый, сверкающий — красный аппарат, межгород.

— Лусканов слушает. Да. Кто? Семен Дмитриевич? Краснодар? Конечно-конечно! Приветствую. У вас вопрос был по фундаментным блокам, ФБС 24.3.6, я правильно помню? И борское стекло еще, кажется... Да, да, все есть...

Девятый причал был самым последним на Нижневолжской набережной. За ним высокий пирс обрывался, внизу волны отвоевали несколько метров песчаной проплешины, там же валялись куски бетона с торчащими из них черными паучьими лапами арматуры, а дальше шла приземистая набережная с пологим подъемом из литого бетона — до самого Гребного канала.

С площади Сенной идти было до «девятки» неблизко, но день выдался на удивление теплым, мягким – последние отголоски лета – и Саня с Настей решили пройтись.

— А ты знаешь, что я туда залезал, на самый верх? — спросил Саня, когда проходили мимо квадратноголового девяностометрового трамплина.

Настя посмотрела вверх. В небо уходило широкое, как трасса Формулы-1, полотно, покрытое пожелтевшими щетками искусственного снега, похожими на плоскую лапшу. Вертикально вверх от земли тянулись две объемные металлические опоры, держащие как на ладонях там, в вышине, ржавую, сшитую из листов металла, полукруглую стартовую площадку. Опоры шли выше и замыкались перекладиной. Этот огромный квадрат и торчащая из него площадка напоминали сидящую ушастую собаку с прямыми передними лапами, а морда устремлена вперед. Черная громадина трамплина гудела на ветру и поэтому, несмотря на исполинские размеры и многотысячетонный вес, казалось, что она парит в воздухе, как межгалактичекий корабль.

— А что, туда можно? — Настя округлила глаза.

— Сейчас заварили проход уже... А вообще можно было, вон там, видишь, узкая лесенка... Очень крутая! И наверху страшновато прям...

— Фигасе. Я тоже хочу! — Настя обняла Саню за талию.

— Давай следующим летом, может... Как сухо будет.

— Вдвоем там классно! Ветер!

Настя восторженно смотрела на Саню, а он еще раз глянул на трамплин — широкий грязно-желтого цвета подъем уходил вверх и на высоте становился почти отвесным, похожим на широкий экран небесного кинотеатра, а выше площадка, лавки, и от них, почти не видных снизу, веяло для Сани чем-то доступным, родным, присвоенным когда-то в детстве уютным мирком, до которого до сих пор можно добраться, но почему-то, втайне, беспокоить который не хочется. Здесь, внизу, на уровне глаз, трамплин превращался в горизонтальную плоскость, резко обрывался и торчал над самой пропастью, и одна мысль о том, каково это, лететь с дикой высоты и вдруг ощутить обрыв, отсутствие под ногами поверхности, завораживала и заставляла сделать лишний глоток воздуха.

О том, что главной их пацанской доблестью было написать мелом на самом верху трамплина слово «ХУЙ» Саня девушке говорить не стал. Не потому что стеснялся. Чистый мальчишеский восторг от победы над покоренным гигантом Саня помнил свежо, резко, как будто лазил вчера, но этих чувств не объяснишь сейчас, не сыграешь по старым нотам.

Они побежали вниз, под гору, на которой стоял город, по узкой пешеходной дорожке Казанского съезда, прямого, как стрела, и крутого, как еще один трамплин. Слева их обгоняли автомобили, справа бордюрный камень свисал со склона, иногда сваливаясь вниз, а за прозрачными березками проблескивал размашистый волжский простор: начало Гребного канала, за которым к синей Волге как гусеницы к листу цеплялись бурые баржи.

— Над го-о-родом Го-о-рьким все я-я-ясные зо-о-рьки... — пропел, размахивая руками и выбрасывая далеко вперед ноги Саня.

— А?! Чего?... — но слова Насти тут же скомкал ветер.

Спустились. Шли по набережной, от Волги пахло как от живого существа, чем-то холодным рыбным и водянистым.

 — Сашк, ну ты совсем у меня обалдуй, что ли, а? — Настя легким движением ладони потрепала его по вихрастому затылку. — А? Отвечай, Сашка! Почему ты балда такая?!

На лице Сани застыла счастливая улыбка. Теплый, пусть и ветреный, день, Волга, на набережной никого, рядом загорелая до легкой бронзы веселая Настька в белых кедах, розовых лосинах, короткой юбке и синей, как речка на глубине, легкой курточке. Счастье. Молодость. Воля!

Он попытался поймать ее за руку, которой она растрепала ему весь причесон, но попробуй ухватить юркую Настю!

— Ладно, давай серьезно, Саш. Ну... — и Настя, отбежавшая назад, приостановилась.

— Что *серьезно*, Насть? — Саня повернул только голову и сделал несколько скользящих шагов задом. Как Майкл Джексон. Настя подошла, взяла его обеими руками снизу за рукава, глядя при этом куда-то под ноги.

— Сашк... — пауза сигнализировала, что сейчас будет разговор серьезный, — тебе надо решать в конце-то концов что-то... Осталось меньше года. Ну правда. Ты вон какой здоровый и красивый у меня! А о будущем думать не хочешь. Я за тебя волнуюсь.

Улыбка с лица Сани сползла, он смотрел на реку, и через желтые пески волжских островов, напоминающих о лете, туда, на Бор, где виднелись сросшиеся колонны силикатного завода.

— Просто, Саш, я понимаю, что говорить об этом не хочется, постоянно некогда и давай потом... Но когда-то надо! Скажи мне что-нибудь...

— Ну вот. А так все хорошо начиналось! — Саня засмеялся.

— Надо же идти на подготовительные, Саш... Уже начинаются годичные курсы. У меня четвертая неделя идет...

— Ой, слушай, у вас в инъязе все так...

— Саш. Саш! Мне непонятно, что у тебя родители думают! Они вообще жизнью сына не интересуются?

Саня дернул руками и посмотрел Насте в глаза. Она держала его крепко.

— Вот давай... Насть... Если ты про моих родителей говорить будешь, то вообще говорить не будем! Я все решаю сам. Не ты, не они. И не надо их обсуждать...

Саня готов был развернуться и зашагать дальше, но Настя вцепилась ему в куртку, приобняв и прижав рукой.

— Хорошо, прости, я не буду... Не лезу. Ладно! Но я за тебя переживаю, Саш. Ты мой парень вообще-то! — и она сильно дернула его за куртку, и тогда Саня улыбнулся, наклонился поцеловать Настю, но она отвернулась.

С Волги веяло то сыростью и прохладой, то в поток ветра откуда-то сверху вклинивался теплый, разогретый слой воздуха. До берега рукой подать, пахло ивняком и полынью. Это был день из тех, когда путаешь, на улице осень или весна.

— Саш, давай очень просто поступим... — Настя заговорила решительно, твердо, — Понятно, что ты все сам. Понятно, что ты все решишь. Ты взрослый и самостоятельный. Но ты просто... со мной можешь это обсудить? Я тебе не чужой человек. И я тебя люблю. Да. И нечего улыбаться.

Она не смотрела на него, но знала, что он улыбнется. Так и вышло. Настя крепко держала Саню за его короткую куртку. Не отпускала.

— Итак, давай подумаем. Какие есть варианты ВУЗов у нас? Перечисли. — Настя упорно пыталась сдвинуть разговор с мертвой точки.

— Нуу-у... Вариа-а-нты... Хо-ро-шо... — и Саня выставил перед собой растопыренную пятерню, начав загибать пальцы, — ВДВ, Морфлот, погранцы, менты, стройбат, сидеть на радиолокационной станции на Камчатке, где «кругом пятьсот»...

— Ну Са-а-нь! Хватит! Перестань! — Настя затопала ногами и с силой начала дергать его куртку, молния которой была уже где-то на боку, но Саня не сопротивлялся.

— Никакой армии тебе! — крикнула, дернула, — Ты меня слышишь?!

— Почему это? — он вскинул брови и выпрямился, повел плечами, — Из меня получится хороший вояка!

— Кривляка!

Настя отпустила его куртку. Сделала шаг в сторону. Пошла рядом. Мимо прошел модный мужчина, с ног до головы, как в латы, закованный в синюю вареную джинсу, как будто его кипятили целиком в одежде. Он удивленно зыркнул на них.

— Ладно, извини. — сказал Саня нехотя.

— Нет, ну Саш... Мы так до Черниговской дойдем. Блин! Давай хоть раз поговорим серьезно...

Они замолчали. По Волге с низким густым стрекотом, прерываемым ветром, ползла старенькая моторка, с нажимом пропарывая чешуйчатое брюхо реки. Две черные фигурки сидели в лодке, и можно было заметить, что смотрят они сюда, на берег.

— Слушай, ну ладно, давай поговорим, конечно... Я без проблем. Только спокойно, без эмоций... — встрепенулся Саня, поняв, что шутки закончились.

— Хорошо. — еле заметно кивнула Настя.

Саня подошел к бетонному блоку у края тротуара, за которым вниз, к реке, спускалась дамба, поставил на него ногу. Настя снова взяла Саню за куртку и осталась сзади, укрывшись от настойчивого речного ветра.

— Насколько я себя знаю и вообще, так сказать, трезво оцениваю, выбор у меня небольшой... Как бы это сказать... — Саня отвернулся от реки и посмотрел вверх на склон, где за черно-буро-желтым осенним месивом деревьев высился город.

— Истфак Лобача или Педа, думаю... Лобач круче, конечно, в Педе, говорят, сплошные девки из деревень... Филфак и там и там тоже есть... А куда еще? С языками у меня жопа. Всегда была. С историей тоже траблы... Даты не запоминаю. А историку это обязательно... Поэтому с истфаком не прокатит... А больше куда идти? Литературу я люблю и знаю... более менее... И наверное, хотел бы заниматься... Хотя там тоже английский сдавать. Не знаешь, нафига на филфаке английский?

— Новые веяния. Сейчас везде, во всех ВУЗах english language сделали...

— С математикой и химией у меня совсем жесть, ты в курсе. А больше и не знаю, куда идти. На филфак все-таки наверное! Лобач крутой, конечно, престиж, то да се... Но там балл высокий. Пед попроще, немного колхоз, конечно... зато девчонок навалом!

Саня засмеялся, Настя шутливо стукнула его кулаком по лопатке. Он продолжил откровенничать:

— В детстве мечтал в Речное поступать... Или даже в этот наш... в Водный институт...

— Вводный институт?..

— Ха. Ха.

— Это на Минина и Пискунова которые?

— Ага. Но там математика сплошная! Мне туда ваще никак! Никакой романтики, короче...

Саня обнял Настю, прижал, ветер разошелся сильнее, солнце скрылось за набежавшие тучи и сразу стало прохладно.

— Еще я во ВГИК хотел поступать. Но это вообще отдельная история. Веселая.

— Куда? В... ГИК? Это что такое?

— Насть! Ну ты чего! ВГИК! Кино... Институт кинематографии в Москве! — воскликнул торжественно, как будто там уже учился.

— Ого! Ничего себе! На кого хотел? На этого... режиссера?

— Не, не на этого. Я мечтал на операторский. Но туда фиг поступишь... Нереально. Отец говорил, что тоже в детстве мечтал учиться во ВГИКе и тоже на операторском, но там сто человек на место... Если не больше... Мало быть со связями, мало быть чьим-то сыном, очень желательно быть... евреем! — Саша сухо и звонко засмеялся и они пошли дальше, прижимаясь друг к другу.

Солнышко выглянуло, дохнув теплом.

— Насть, ты только не кричи сейчас, ладно? — сказал вдруг серьезно.

— Что такое? — насторожилась.

— Я просто хотел сказать, что... Ну, блин... В армии нет ничего ужасного. Это тоже вариант, Насть. Я — не боюсь. И если не поступлю, ну, вдруг, я не настраиваюсь, но если так случится, то двину в армейку... А что? И дедовщины я не боюсь. Как-нибудь справимся...

Саня улыбался широкой молодой улыбкой, Настя посмотрела на него исподлобья, он был похож на солдата, вытянутый, молодцеватый, глупый. Только шапки не хватало.

— Два года. Выкинутых из жизни... — сказала она медленно.

— Ты будешь... меня ждать? — произнес он с придыханием, тонким голоском, явно ерничая.

Шли и улыбались оба, вдруг превратившись в этом счастливом родстве в совсем юных, наивных...

— Ладно, Насть, я шучу! Не про армию, а про... ждать. Я таких вопросов тебе задавать не буду, если что, — он быстро погладил ее по плечу, приобнял крепче, — Я тебя люблю, но это дело... сугубо твое, личное. Это твоя жизнь, Насть. А про армию... Всего два года, а впечатлений на всю жизнь... Отслужу, вернусь, а там и поступить можно. Говорят, даже легче, для служивших есть какие-то льготы в институтах... Так что...

— Ага. Только мама твоя говорит, что в армию только через ее труп... на пороге дома. Забыл? Или переступишь?..

— Ой! Перестань! — Саня сделал кислую мину, — Она мама! И я не забыл! Но тоже, знаешь ли, говорить такое сыну неправильно...

Солнце зашло, все вокруг стало однотонно-серым, только жидкая сталь на реке засверкала ярче, острее.

— Просто... Это ты со мной такой смелый. Я посмотрю, как ты в глаза ей скажешь! В армии сейчас знаешь, что творится. Зверства и расстрелы, и самострелы... Каждую неделю в новостях показывают...

— Ты про того, который восемь человек в поезде положил? Так это когда было...

— Саша! Это было недавно! — наконец не выдержала, — Открой глаза, почитай газеты! У меня дед выписывает целый ворох... В армии твоей сейчас одни садисты и деграданты. И я тебя туда не пущу!

— Ну вот сразу армия стала моей!.. Ну! — сказал Саня монотонно, растягивая слова.

Настя пошла быстрее, оторвалась от Сани, он ускорил шаг. Снова выглянуло солнце и горячей ладонью дотронулось до его худой жилистой шеи. Настя обернулась посмотреть на Саню и зажмурилась, и налетевший ветер бросил ей на лицо волну гладких блестящих волос, она затрясла головой, чтобы освободиться, но ее губы уже принимали шершавые заветренные губы любимого. Но вместо того, чтобы раскрыться ему навстречу и утонуть в горячем на холодном ветру поцелуе, она крикнула — прямо ему в рот:

— Ты самая настоящая у меня балда!!

Саня схватил ее под мышки и поднял над собой, как ребенка. Она засмеялась и взвизгнула от щекотки.

«Зыбкой» в то время называли размером с пятерню сваренную стальную крестовину из трубок — в них вставлялись тонкие гибкие титановые пруты метра по полтора, на концы которых крепилась дрожащая лесочная сеть мелкой ячейки. Зыбку бросали на привязанной к крестовине веревке, или с лодки или с отвесного берега квадратом вниз. Она туго упиралась в воду, погружалась, становясь совсем невидимой, на несколько метров, после чего, подождав, пока вода успокоится, рыбак как можно резче и быстрее вытягивал снасть перпендикулярно вверх. Первой показывалась крестовина, затем согнутые звенящие от натуги пруты, — неохотно и туго сетку отпускала темная вода — и в последний момент сеть пружинила и выпрыгивала из воды, взрываясь мелкими блестками брызг, и — есть! есть! — в неглубокой сверкающей мотне плясали, как на сковороде, серебристые лезвия рыбешек. Чаще всего на зыбку ловили на хорошем течении, как правило, в нее попадалась рыба, что любит ходить ближе к поверхности: красноперка, плотва, чехонь. Руками помахать вверх-вниз приходилось изрядно, но и выгребали в сумме хорошо, за вечер можно было натаскать килограммов пятнадцать.

У девятого причала зыбарей стояло трое, они лихо, без устали, забрасывали свои дрожащие, рассыпающие мокрую пыль, конструкции, затем взмахивали руками, как стрелами портовых кранов, и тянули вверх чаще всего неуловимо исчезающую воду, но иногда и срывали аплодисменты зевак.

— Смотри! Смотри! Видел?! — кричала приглушенно Настя, хлопая ладошкой Сане по спине, будто эта ладошка и была пойманной трепещущей рыбкой.

— Да видел, видел... — его немного смущали бурные эмоции Насти.

Она была совсем городская, Саня — наполовину, с малых лет каждое лето его возили в деревню.

— У меня была такая зыбка, я сам рыбачил... — бормотал он, а худой паренек в темно-зеленом плаще, младше его лет на пять, уже второй раз на их глазах выпутывал из сетки пляшущую рыбу, деловито засовывая ее в непослушный от ветра пакет.

Саня осмотрелся, прелесть рыбалки этих смельчаков была в том, что все происходило в центре города, на набережной, где мирно прогуливались школьники, влюбленные парочки, мамы с детьми. Утонченные горожане в белых кедах, модных ветровках, со стаканчиками ванильного мороженого в руках и тут же — в прорезиненных грубых плащах браконьеры варварски таскают настоящую рыбу, и она исходит прямо на асфальте вонючей слизью, судорожно дышит, таращит сумасшедшие глаза на незнакомый мир...

Не успел Саня усмехнуться своим ощущениям, как перед ними развернулся целый голливудский блокбастер — на бетонку возле причала с жутким воем коробки передач выскочил громадный, размером с автобус, только со злой выдающейся вперед мордой милицейский КрАЗ, сине-серый, с решетками на окнах. Он лихо тормознул, качнулся, будто присел, и тут же из него, как жуки из коробка, посыпались крепкие пружинистые мятые фигурки — в высоко зашнурованных берцах, в серо-голубом камуфляже, в набитых чем-то разгрузках, с тупыми черными палками в руках.

Из омоновцев полетело что-то громкое, матерное и веселое, дохнуло потом и кирзой, силой и безнаказанностью, так, что люди на набережной шарахнулись врассыпную. С гоготом и каким-то дикарским гиканьем они подскочили к рыбакам, и Саня и Настя увидели, как омоновцы, сплошь молодые румяные перекачанные парни, сначала сбили с ног, а затем размашистыми пинками погнали несчастных в свой «крокодил». Вслед в грузовик покидали собранные пакеты с рыбой, стульчики, фляги, свертки с едой... Что-то упало на землю, валялись растоптанные бутерброды, заботливо завернутые в газетку женой рыбака. Под колеса покатился клетчатый коричневый термос, внутри звенело битое стекло. Двое омоновцев с теми же веселыми, пересыпанными кудрявым матерком криками, обращенными видимо к браконьерам всего мира, начали доставать из воды зыбки и рвать и топтать их, те дрожали, пружинили, пытались спастись, извивались и, выскакивая из крестовин, рассыпались по бетону, как лапки раздавленных пауков.

Растерзали две, третью омоновец заметил не сразу — толстая грязная веревка была привязана в самом низу чугунной ограды.

— Так, мля... Чо там? — омоновец крякнул, присел на корточки и взялся за веревку.

— Ага! Давай ее сюда! — ответил другой здоровяк и быстро оглянулся, мгновенно смерив взглядом зевак, включая опрометчиво подошедших поближе Саню с Настей. У омоновца было крупное лицо с круглыми глазами в цвет голубого камуфляжа. Он взял веревку, отошел назад и стал вытягивать ее через перилину, с которой потекла вода.

В это время первый омоновец, сидя на корточках и коварно по-мальчишески лыбясь, незаметно появившимся в кулаке ножичком обрезал веревку. Она опала и вода быстро утянула зыбку течением. Омоновец, державший веревку сверху, едва не опрокинулся на спину.

— Епта! Ты что творишь?!

Ржали оба, густым, свежим хохотом подростков в могучих телах на несколько размеров больше, чем им полагается.

Саня сжал руку Насти, обернулся к ней, чтобы пойти, но вдруг увидел в нескольких шагах за ее спиной смятое беззвучными рыданиями лицо... Человек не издавал ни звука, хотя голова его дергалась. И он действительно прятался за ними. Саня кивнул на него Насте, она обернулась, и увидела зыбаря — того самого удачливого худого паренька, теперь он стоял в рубашке и прятал за спиной скомканный темно-зеленый плащ.

— Саш, я хочу договорить... — сказала Настя, когда от рыбалки на причале не осталось и следов. — Я тебя выслушала, а теперь хочу, чтобы ты... принял решение...

Саня мотнул головой, отвернулся. Из-за угла на них шагнули три гигантских чугунных матроса, с винтовками, с развивающимися за бескозырками ленточками толщиной в руку. Они шли мимо Речного вокзала и между ними натягивалось напряжение. Настя была настойчива.

— Не отпущу тебя сегодня, пока не договорим! Ты должен решить, не кто-нибудь, не я! Ты!

— Че ты со мной как с дитяткой? — добродушно огрызнулся Саня, — Это вообще не возбуждает!

— А и не надо, чтоб возбуждало! Мы сегодня к тебе не поедем. — по-комсомольски твердо сказала Настя.

Саня резко обернулся. Дед с разноцветными орденскими планками и в широкополой кепке под Мимино чуть не врезался в них сзади. Что-то буркнул незлое. Но Саня не видел уже ничего:

— Настя! Блин! Мать уехала к тете Тоне в Сормово! Дома никого! Мы уже больше двух дней не это... самое... — и он не сдержался, улыбнулся, даже покраснел.

Настя была серьезна. Они минули вокзал, снова увидели Волгу, ветер настойчиво пытался залепить волосами ей губы и глаза.

— Думаешь, мне не хочется? — сказала Настя, посмотрела на Саню и улыбнулась — спокойно, как взрослая женщина.

Саню такие моменты откровенно возбуждали, он тут же притянул ее к себе, поцеловал в лоб и кивнул в сторону девятого причала, где откуда ни возьмись появился небольшой бело-голубой кораблик. Он давал задний ход, разворачивался, будто делал неуклюжий реверанс перед тем как прижаться к пристани.

— Погнали на Омике кататься?! — воскликнул Саня и Настя быстро-быстро закивала, благодарно глядя на него из под руки. Как будто это не она, а какая-то другая девушка минуту назад требовала от него важнейшего решения в жизни.

Легендарный Омик, на который Саню брали еще ребенком, да и самих его родителей катали детьми, курсировал через Волгу на Бор и обратно, а дважды в день заезжал еще и на Мочальный остров. Однопалубный пароходик с рядком круглых иллюминаторов по бортам, с трапом для высадки пассажиров на носу, где лепилась примятая от швартовки красная звездочка, — Омик для борчан был с одной стороны необходимым в городе водным такси, сказывалась нехватка мостов через Волгу, а с другой — для нижегородцев в нескольких поколениях уютным и недорогим прогулочным развлечением. Туда и обратно плыть около часа, там погулять по берегу тридцать минут, а настроения на всю рабочую неделю.

Омик заурчал, где-то глубоко под палубой заклокотал стареньким дизелем, причал вместе с нависшей декорацией города начал плавно удаляться, будто его оттолкнули и он поплыл по воде. На палубе было прохладно, ветрено, пахло свежестью и вольный, разогнавшийся по просторной реке ветер набрасывался и смешивал теплый запах пассажиров с тошным душком солярки.

Когда Омик выползал на середину широкой на стрелке Волги, Нижний Новгород, находящийся на холме, как будто не удалялся, а увеличивался в размерах, нависал, раскрывая громаду Кремля и восьмерку Чкаловской лестницы. Здесь, на реке, ты был как на арене амфитеатра.

— Пойдем, Владиммихалыч, холодно! — замахал руками Шляпников, не отходя и на метр от машины, будто она могла убежать. Ветер разворошил его, как кочан капусты — ворот, рукава, полы пиджака и брюки модного костюма из рыжеватой с золотым отливом тонкой синтетики ветер трепал как спортивные флаги.

Черная Волга стояла прямо у памятника Чкалову, где остановка запрещена. Лусканов приехал пораньше, чтобы проветриться и прогуляться, свою машину он отпустил. Когда подъехал Шляпников, Лусканов стоял под памятником со стороны Чкаловской лестницы и смотрел на раскинувшуюся под высоким сводом неба стрелку — на привычное для всех нижегородцев чудо, как мутная рыжая вода Оки встречается с темными синими водами Волги, образуя хорошо заметную сверху границу, шрам, делящий пополам стрелку. Лусканов заметил переползающий реку похожий на инфузорию-туфельку Омик, глянул на небо, прямо над головой куда-то спешили отлитые из серого бетона одинаковые крепенькие облака, а когда услышал крик, поднял руку, махнул в сторону Шляпникова, поначалу даже не обернувшись к нему.

Неспеша подошел, ткнул костяшками кулака в намытый блестящий капот черной Волги 3102, служебной красавицы с квадратными глубоко посаженными фарами и выпуклой решеткой радиатора. Поздоровались. Петр Шляпников был похож на буржуя, какими их рисовал великий карикатурист Бидструп, — лысый, низенький, очень толстый, необхватный в поперечнике, как клумба на городской площади.

Сидя на стуле в кафе, Шляпников как будто испытывал на прочность свой золотистый костюм, телесное тесто выпирало одновременно и тут, и там, и еще вон там. Он тяжело дышал, улыбался, и лицом, как будто прилепленным к толстой голове, всячески показывал Лусканову, как он рад его видеть.

Сели в «Кладовой башне», в крохотной кафешке внутри огромной старинной из красного кирпича башни Кремля, дикая древняя мощь и вес которой особенно сильно ощущались здесь, под массивными сводами, за многометровыми стенами.

Когда принесли кофе, начался разговор. Шляпников делал вид, что какой-то конкретной темы для беседы у него нет, но это был маневр. Зачем-то он пригласил на встречу. Лусканов не торопился, он многое знал про кооператора Шляпникова, рвущегося в нувориши, и сюрпризов не ждал. Шляпников и те, кто за ним стоял, очевидно положили глаз на его, Лусканова, УПТК. Не его, конечно, а государственное. Пока. Потому что государства в этой стране становилось все меньше.

По всей стране шла приватизация. Сначала дали такую возможность комсомольским организациям (и еще долго первых ушлых «при*х*ватизаторов» называли пренебрежительно «комсомольцами»), затем разрешили иметь собственность кооперативам, а потом появились ваучеры и приватизировать стало можно почти любое советское предприятие... Приватизация проходила в несколько этапов. Начали с мелких лавочек, пирожковых, газетных ларьков, а закончили залоговыми аукционами, когда государство раздало металлургию, добычу ископаемых, нефтянку... Правительство, состоящее из молодых реформаторов торопило, низвергнутый призрак коммунизма был еще жив в умах, Ельцин все новыми и новыми указами ускорял передачу народного добра в частную собственность. Бывший Горький, ныне Нижний Новгород, к рыночной экономике шел впереди планеты всей. Именно здесь устроили первый аукцион по продаже госпредприятий. К младореформатору губернатору Борису Немцову приехали реформаторы федеральные, имена нарицательные в России на долгие годы — Гайдар и Чубайс. Смешно, но первым объектом, попавшим под каток приватизации в Нижнем, стала любимая всеми пахнущая теплым тестом и вареным мясом пельменная на пересечении Пискунова и Алексеевской. Она так и называлась, по-советски наивно: «Пельменная». Ну а как иначе? Местные жители встретили реформаторов-приватизаторов плакатами: «Руки прочь от советской торговли!»

— О чем задумался, Владимир Михайлович? — Шляпников аккуратно поставил на блюдце маленькую пузатую чашечку, по форме напоминающую его самого, только в масштабе один к тысяче, и еле заметно подмигнул правым глазом. Было непонятно, он подмигивает или у него тик.

— Да так, Петр Василич, дела, дела... Н-да. А у вас как, лучше расскажите... Чем заняты?

— Да я... чтож... — хотел было ответить Шляпников, но Лусканов не закончил:

— Слышал, пилите цеха на металлолом? Старые добрые советские станки, жирную медь, латунь, никель... — Лусканов засмеялся дробно и немного натужно.

— Что ты! Что ты! Владиммихалыч! Не надо так! Ты за кого меня держишь? — Шляпников тоже засмеялся, ни капли не смутившись, а Лусканов отвернулся и начал разглядывать барную стойку у крепостной стены. Ему не очень-то хотелось слушать, как у навязавшегося ему Шляпникова дела. Барная стойка была тоже из красного кирпича, как и башня, только фальшивого.

— Наоборот! Спасаем остатки завода! — предсказуемо для его типажа митинговал Шляпников, — Люди без денег сидят, работягам жрать нечего, директор там на Гидромаше Саша Кушнер, ты его знаешь, все живое оборудование давно вывез... А мы не пилим, мы — покупаем! Ненужное, неработающее... Какой там никель, ну ты что! Сколько этим прессам, прокатным станам да мостовым кранам... Ты знаешь, что это еще из Германии в сорок шестом привезено? То-то же! Их в немецкие музеи надо сдавать! А мы деньги живые платим, режем с утра до ночи на металл, чтобы у работяг штаны не спадали...

— Деньги-то откуда? На выкуп сего богатства... — спросил Лусканов, прекрасно зная, что денежного ресурса в стране, где рыночной экономики никогда не было, сегодня остро не хватает.

— Об этом я и хочу поговорить, коллега... О деньгах, грубо говоря. — улыбка слетела с лица Шляпникова, Лусканов повернулся к нему, мгновенно смерив взглядом.

— У меня предложение есть... — Шляпников подмигнул, на лице заиграла хитрая полуулыбочка, — Володь, — он положил ладонь на руку Лусканова, — Давай сделаем тебя богатым уже, а? — и в голосе Шляпникова дрогнуло что-то настолько фальшиво дружеское, что Лусканов на мгновение ему поверил.

Лусканов смотрел на ладонь «коллеги», лежащую на его руке, она была широкая, короткопалая, с детскими ямочками на костяшках. Лусканов вдруг почувствовал, что проголодался, и вытащил руку.

— Пора становиться состоятельными людьми, Володь. Пора, друг! Потому что время уникальное. Коридор возможностей, понимаешь... Собственность, понимаешь, сама в руки плывет...

Шляпников многозначительно помолчал, затем пригнулся над столом и, чуть понизив голос, продолжил:

— Предприятия строительства подлежат обязательной приватизации. По закону Чубайса. По новому. А это значит, что скоро у тебя аукцион... Переоформишься в акционерное общество и будешь продавать свое УПТК... Выйдешь в акции. И их придется раздать своим же сотрудникам, большую часть... Ну? Так?

Лусканов пристально смотрел на Шляпникова, еле заметно кивая головой.

Шляпников принял это как знак, улыбнулся, подмигнул, затем еще раз, Лусканов понял, что все-таки тик. Шляпников снова стал серьезным.

— Пойми, это шанс! Не для них... Для нас! Государству нужен рынок! Новые люди. Новые товары. Предприятия... Новая страна нужна! А значит, ты и я... Наши мозги, инициативы, предпринимательская жилка, в конце концов! И... и... — тут он прервался, выдержал паузу, постучав по руке Лусканова двумя пальцами, как по клавишам молчаливого пианино, — нужно ловить удачу за хвост... Понимаешь? Птицу счастья, счастья моего!..

Шляпников засмеялся чуть громче, чем это было бы прилично. Бармен за стойкой посмотрел в их сторону. Несколько секунд Шляпников и Лусканов смотрели друг другу в глаза, думая каждый о своем. Наконец Лусканов прервал молчание, неожиданно спросив:

— Это твои архаровцы у меня под боком орудуют... ваучеры собирают?

Шляпников не растерялся, хотя обошлось без подмигиваний:

— Да ну... Простые ребята. С окраины, с Сормова... Работают. Но...

Он замолчал.

— Что — «но»? — не утерпел Лусканов.

— ...дела идут не фонтан, честно говоря. Сдают мало. Не понимаю, зачем держат, чего ждут... Под подушку прячут, что ли?

Он захихикал, Лусканов натянуто улыбался, пристально и холодно разглядывая Шляпникова, но вдруг тот резко выпрямился и заявил:

— Собственно, рассказываю, что можно сделать, Володь...

Лицо, голова, подбородки, плечи, руки Шляпникова из сырой тестообразной массы вдруг собрались, складки подтянулись, Лусканов увидел лицо жесткое, холодное, острое, он даже испугался, потому что на мгновение перестал узнавать своего визави. Да и голос Шляпникова вдруг изменился:

— У меня есть хороший знакомый в одном проектном институте. Тоже стали недавно АО, провели собрание акционеров, приватизировались, контрольный пакет, все дела. Там «красный директор» сильный, вряд ли ты его знаешь, Юрка Скулябин, есть такой... Так вот они раньше разрабатывали проектно-сметную документацию для главка, затем для кооператоров готовили пакеты согласования, а сейчас пишут еще и бизнес-планы, ну, модная штука, в курсе ты? Короче. Володь. Я договорюсь, они помогут провести несколько, э-э-мм... ну... как это сказать... *интересных* сделок. Например, вы оформите у них пару крупных заказов для нескольких областных строек по составлению той же документации, они заказы выполнят, но оплатить вы не сможете... Ну и тогда... В общем, ребята все сделают как надо. Ребята свои, проверенные. Короче...

— Бандиты, что ли? — вдруг громко и грубо перебил Лусканов, все так же бесстрастно рассматривая лицо Шляпникова.

— Что бандиты? Кто бандиты?! — тот засуетился и оглянулся.

— Ну, ребята свои, надежные которые... бандиты? Которые фиктивно банкротят предприятия, чтобы за бесценок выкупить их на аукционах... И раздербанить... Так?

— Ну-у-у! Володя! Нет! Ну что ты? Какие бандиты! Ну! Зачем ты так... Ребята нормальные... — Шляпников испугался, что говорит слишком громко, осмотрелся, не слышит ли кто, нервно посмотрел на бармена, на входную дверь.

— Так, про «интересные сделки» я понял. Дальше что? — спросил Лусканов.

— Володь! — воскликнул Шляпников. — У тебя сын? Двое? Сколько ему? Ты о будущем его думай...

— Стоп. Так. Это все, о чем ты хотел поговорить? Давай по делу. И короче, а то мы долго тут... — это прозвучало грубо, не по-дружески, будто Лусканов хотел вернуть истинное расположение фигур на доске: он — директор, инженер, а напротив — барыга, и никакие они не друзья.

— Владимир Михалыч, я ж ничего особенного не предлагаю. Это сейчас самый надежный метод... э-э-мм... приватизации. Сам подумай, ну зачем им акции. Простые люди не привыкли к собственности, не знают, что это такое. А в итоге, когда предприятие заработает как твое собственное, это будет на благо нас же самих, да и работяг, семей...

— Так нас самих или работяг? — неожиданно засмеялся Лусканов, Шляпников мгновенно покраснел, но вовремя спохватился и захихикал тоже. Тут вальяжно подошел официант, он был еще той, советской закалки, когда официанты были главнее посетителей, он спросил, не нужно ли чего, от него отмахнулись и уходил он важно, но обиженно.

— Владиммихалыч, да ты не волнуйся... — Шляпников как-то сжался, снова пригнулся к столу, будто хотел показать, как он может спрятаться, не выходя из-за стола, — Это же реально, как ты сказал, фиктивное банкротство... Задержать зарплату надо всего месяца на три, ну шесть... И в общем, все. Все будет окей. Работяги поворчат, конечно, повозмущаются... Будут ходить, требовать, может, кто-то плакат нарисует, заметку тиснут в какой-нибудь «Нижегородский рабочий», но сделать ничего не смогут... Даже если резонанс будет. Всем пофиг. Даже уезжать не советую никуда, за границу там, чтобы спрятаться, сейчас такое везде, ментам тоже дела нет... в стране бардак, кризис...

Шляпников замолчал на секунду, чтобы перевести дух. Лицо Лусканова было каменным.

— В общем, поненавядят, покричат и успокоятся. Ты главное обещай. Хоть каждый день, что завтра, что к двадцать третьему февраля, а потом к восьмому марта будет полный расчет... Здесь надо с людьми общаться, держать контакт, чтобы не волновались. Но деньги не платить. Никому. Хоть больным, хоть умирающим. Поставить жестко. И будут ждать. А деваться куда? Будут ждать. А потом ты становишься АО... Потом аукцион. Цена конторы минимальная... Долги огромные. Срыв обязательств... Ребята обеспечат. Ну? И все. И по моим наблюдениям, по опыту других, так сказать, недели через три после первой невыплаты зарплат работяги начнут сдавать акции, и моим ребятам, и конкретно мне, плюс я буду работягам лично писать, выходить на них, предлагать условия... Еще через месяцок самым упертым можно говорить, что большинство уже акции сдало, контрольный пакет есть, мол, и без твоей одной бумажки... Ну а человек два месяца денег живых не видел, ну и продаст, если не дурак упертый, куда ему деваться? Продаст... Он у тебя в руках. Ты для него спаситель. Отец родной! Все!

Шляпников хихикнул и замолчал, и в кафе стало так тихо, будто только что вырубили громко работающий телевизор. Но вот за барной стойкой звякнула посуда и Шляпников, на которого все так же холодно смотрел Лусканов, продолжил:

— Это для их же блага, работяг... Почему? Потому что предприятие должно работать нормально. Зарабатывать деньги, делать прибыль... А руководству это зачем, если это не их бизнес, зачем пахать на дармоедов... Ну вот тебе...

— У меня этих *дармоедов*, как ты говоришь, — во вдруг высоком голосе Лусканова дрогнул металл, — а я их называю *сотрудниками* и *коллегами*, сто двадцать человек, включая базу стройматериалов на Бору. И ты им предлагаешь не платить? А потом на улицу выгнать? Люди всю жизнь отдали своему предприятию!

Лицо Лусканова было твердым и бесстрастным, он побледнел и убрал руки под стол.

— Почему на улицу? — заволновался кооператор, — Зачем? Нет! Они точно так же будут работать на базе твоей... Зарабатывать. Еще больше! Я не понимаю, почему ты мышей не ловишь и не хочешь забрать под себя предприятие, твое родное, считай...

Лусканов давно бы взорвался, если бы не считал это ниже своего достоинства перед этим человеком. Голос его стал спокойным.

— Мне его забирать? Как это вообще? Если оно принадлежит рабочим, которые отдали ему лучшие годы жизни... И приватизация для них это правильно. Через акции они будут полноправными собственниками своих долей... Разве не для этого все придумано?

Шляпников посмотрел на Лусканова как на полоумного.

— Ага! Работяги без этого никак! — в голосе Шляпникова дрогнула издевательская нотка, — Им нужна бутылка водки да кулек конфет для детей! И трусы... для бабы. Ну подумай! А с другой стороны... Зачем им акции УПТК, которое после уничтожения Госплана может накрыться в любой момент? Все стройки начинают работать по-новому, централизованное государственное снабжение в ближайшие годы станет пережитком прошлого... Ты об этом думал? Мы взрослые люди!

— В ближайшие годы может. Но мы здесь и сейчас. Людям нужно кормить свои семьи сегодня, завтра. И я думаю о них.

Лусканов сказал это тихо. Повисла пауза, глухая, как стены крепости. На губах Шляпникова блуждала невнятная улыбка.

— Чудак-человек ты, Владиммихалыч... Пашешь, зарабатываешь на их зарплаты ты один, ну, с парой помощниц да главбухом, обеспечиваешь работу Управления, прибыль... Ты! — Шляпников ткнул пальцем в пухлый блокнот Лусканова, с которым тот не расставался и даже в кафе держал рядом с собой. Шляпников угадал, там, под рыжими корочками, была вся и бухгалтерия, и прибыль УПТК. Чувствуя, что прав, что попал, кооператор порозовел от азарта:

— Но объясни мне, зачем тебе кормить ораву нахлебников?!

— Ты слишком все упрощаешь, ты не знаешь всей ситуации! — скривился, нахмурился, заерзал на стуле Лусканов.

— Да знаю я все, Володь! Кухню твою знаю наизусть. Люди много болтают... Зачем ты работаешь на эту орду? Бездельников... Тебе своих забот мало? У тебя же семья, сын! Или сыновья?.. Тебе сколько лет? Полтинник есть уже? Или больше? Поживи нормально! Есть возможность! Скатайся на Кипр, на Сейшельские острова, там песок белоснежный, ослепнуть можно... Машину купи, Мерин, Бэху, Удюху, себе, жене... Да и сыну! А дома какие сейчас строить начали, ты видел? Особняки трехэтажные, красного кирпича, с двумя спальнями, тремя туалетами, джакузи, где-нибудь на озерах... Магазины люди покупают, рынки, недвигу, обеспечивают себя на поколения вперед. Все можно, все позволено, весь мир открыт, Михалыч! Нахрена тебе эти сто двадцать... дармоедов?!

Шляпников замолчал и вдруг услышал тихий, но все сильнее и громче расходящийся смех. Лусканов откинулся на стуле и сидел расслабленно, расставив ноги, опустив между ними руки, он смотрел вверх, в потолок, и смеялся, открыв рот. Шляпников посмотрел на него и тоже начал было похохатывать, видимо, подумав, что Лусканову весело... Но тот вдруг замолчал, бросил на Шляпникова злой взгляд и сказал громко и отчетливо, вдавливая слова в воздух:

— Это не дармоеды. Это — люди. Толстая жопа ты, Шляпников.

Кооператор опешил, Лусканову на секунду показалось, что он сейчас обидится, встанет, демонстративно уйдет. Но как бы не так. Шляпников загадочно улыбался.

Лусканов встал, нечаянно наступил на пояс плаща, едва не оторвав его. Он достал бумажник и начал вылавливать оттуда желтые бумажные рубли заплатить за кофе. Шляпников вскочил и схватил его за рукав.

— Владиммихалыч! Подожди, подожди! Не убегай так! На плохой ноте! Не надо так говорить! — тараторил умоляюще и суетился Шляпников, — Очень прошу! Прошу! Ты не понимаешь, не понимаешь, Володь! Времена другие... Ты можешь потерять все. Все! И предприятие, которое взрастил, которое держишь на плечах, один, практически...

Лусканов захлопнул бумажник. Он хотел уйти, но поднявшийся Шляпников занял в тесной башне все свободное место. Лусканов почувствовал в груди тяжесть, ему стало трудно дышать.

— Это не я взрастил, — сказал он с силой, преодолевая себя, — это советская власть создала и страну, и город, и Минстрой, и наше УПТК. И построила все это сообща, мечтами и усилиями миллионов людей, а не твоими, моими. В том была и мощь ее. В коллективном...

— Вова! Вова! Да что ты, блин, несешь! — заверещал Шляпников жалобно, но при этом как будто стал еще больше, — Очнись! Какой год на дворе! Вова! Нужны новые подходы, экономика меняется, капитализм уже здесь, какая советская власть, ты книжек по научному коммунизму в туалете начитался? Вова! Ты же деловой мужик, снабженец, прагматик...

Лусканов пристально смотрел на пальцы Шляпникова, которые теребили его рукав. Кооператор с комично плаксивой миной продолжал тараторить, немного понизив голос:

— Вов, Вов... Мы все сделаем правильно. У меня все продумано. Конвейер налажен, сделка, скупка акций, потом... Все, собственность. Контрольный пакет оформляем, мы в совете директоров, ты получаешь долю, ты можешь продать ее, можешь оставить, мы становимся совладельцами... Все по-прежнему, только фирма твоя, твоя!

— И твоя, — угрюмо и уже бессильно сказал Лусканов и Шляпникову впервые показалось, что он согласится.

— Ну! Да! И все будет нормально! Объемы строительства будут увеличиваться, доходы расти... Под твое имя найдем инвесторов, будем расширяться, — Шляпников тихонько ткнул Лусканова локтем в бок, — Рабочих сократить немного, а кто останется будут работать чуть больше, никуда не денутся, зато сытые...

Шляпников сделал паузу, он стоял совсем близко, готовый вобрать в огромную подушку своего тела Лусканова целиком.

— Ну или хочешь... просто отдашь долю, получишь хорошие бабки, построишь дом, или за границу поедешь... В Германию там... Слушай, Миш, тьфу, Володь... — он схватил его за руку, Лусканов не сопротивлялся, смотрел куда-то вверх, — надо решить вопрос, я тебя прошу, так будет выгодно всем. Ты думаешь, другие не зарятся на твое УПТК? Я самый нормальный из них! Там такие, б...ть, шакалы! И как ты выпустишь акции и они попадут работягам в руки, ими крепко займутся, поверь... Вова! Нужно встраиваться в новые реалии! Поезд уйдет! Давай, знаешь, не сегодня, не здесь... Поговорим подробно. Обсудим... Я сейчас тебе схему обрисую...

Они снова сели. Шляпников трещал все вкрадчивее, тише, но его напор нарастал. Лусканов пустыми далекими глазами смотрел на стол, на его лице было усталое выражение обреченного человека, он не слушал, ничего не видел... Но вдруг как будто вынырнул из глубины. Вздрогнул.

— Я все понял давно, не надо по второму разу. — вдруг сухо сказал Лусканов и кооператор резко умолк.

Лусканов отдернул рукав, скинув очередную руку Шляпникова, но тут же улыбнулся и протянул ему раскрытую ладонь, они пожали друг другу руки и лицо Шляпникова просветлело: кажется они договорились...

— По итогам нашей встречи у меня только один к вам вопрос, Петр Васильевич. — сказал Лусканов как будто примирительно.

— Какой? Какой? Вов, ты что... Любой вопрос решим, конечно... — быстро сказал Шляпников и всей массой качнулся к нему. Стул под ним угрожающе скрипнул.

Лусканов встал, запахнул плащ, шагнул к выходу, но обернулся, и, не глядя на пытающегося повернуть голову Шляпникова, негромко сказал:

— Напомните мне, я может быть просто не помню... Разве мы переходили на «ты»?

\*\*\*

Декабрь наваливался на город невидимым бесснежным холодом, тайком выстужая до инея измученный кустарник в парках, исподтишка сковывая лужи, делая воздух ощутимым, колючим на вздохе.

Зато приходить с улицы домой теперь словно окунаться в налитую горячую ванну, пробежав голышом по прохладному коридору. В батареях булькало отопление, по запотевшим окнам сбегали прозрачные струйки, как первые лыжники обнажают под снежным настом еще живую траву.

Она смотрела на него сверху и ее улыбка, ее взгляд утопал в туманной сладости, томлении, разгорающемся в груди и животе вожделении, будто там, в телесной духоте, свербил и таял терпкий мед. Он смотрел на нее снизу, с дивана, на его губах играла коварная полуулыбка, но он тоже еле-еле держался, краешки губ подрагивали от желания — оно начинало тянуть и мучить, и буравить внизу внутри, раскрывая и раскаляя все предусмотренные природой железы. Они оба терпели. Растянуть, как можно дальше оттянуть действие и ярость сказочного вещества, что вырабатывается на самом пике жара, крика, счастья взрывающейся любви... Вот, начинается, он видит на донышке ее размякшей улыбки и обалдевших глаз матовый отблеск принадлежности ему, а она видит за его распахнутым наглым взглядом сгорающую от вожделения, готовую прыгнуть зверем затаенную нежность, неуклюжую мальчишескую страсть...

Но он тянет время, раскатывая его как горячее тесто. Он снизу, с двух сторон касается пальцами ее подвздошных косточек — она стоит перед ним в одних трусиках — дотрагиваясь не пальцами даже, а воздухом на них, затем он ведет ниже, и вдруг цепляет тонкие упругие ниточки, соединенные треугольником посередине и тянет их... По мере натяжения улыбка Насти теплеет еще и еще, губы растягиваются и бледнеют, обнажая белые резцы, глаза ее становятся совсем пьяными, но и Саня дрожит и глотает обильную слюну... Наконец он отрывает взгляд от ее лица и смотрит прямо перед собой на ее плоский живот. Он тянет ниточки еще ниже, и вот ему, восемнадцатилетнему парню, у которого под кожей заживо сварилось мясо, открывается широкий верх телесно-белого треугольничка, пахнущего чистотой, выбритого до прохладной ослепительной нежности запрятанного, но найденного островка любимой загорелой Настьки... Уголочек стрингов вывернут наизнанку, он цепляется за последний выступ... И что-то в горле у Сани дрогнуло, упало с гулким ударом вниз, он рванул ее трусы, но Настя тут же выскользнула из его рук, бедра ее ушли назад, а на его плечи легли ее дрожащие мокрые ладони, на лицо упали шторкой-водопадом ее волосы и наконец влажно скользнув по лбу, по трепетно закрывшемуся веку, ее горячие сильные губы сцепились с его губами. Под ее напором Саня отклонился назад, она повела руками по его груди, и наконец шагнула на него и он почувствовал коленом горячую нежную влагу, она зажала бедрами его ногу и он упал на спину, принимая в объятия любимую, но за мгновение до их долгожданного соединения в прихожей раздалась соловьиная трель.

Настя отпрянула, ткнула ему в живот коленкой, он дернулся, вскочил, увернулся от ее острого локтя и едва не ударил Настю лоб в лоб. Трусы одели за секунду, влага страсти стала прохладной, липкой, руки подло дрожали, Саня и Настя будто соревновались, кто первым прыгнет с тонущего корабля.

— Мама, — шепнул Саня сдавленно.

Настя бесшумно прыгала на одной ноге, пытаясь засунуть себя в узкие обтягивающие джинсы.

— Спрячешься, ладно? — попросил и жалобно скривился Саня, оглядывая пол, все ли они собрали...

Через минуту в комнату без стука вошла мама, разувшись, но еще не раздевшись. Придерживая дверь, она пристально посмотрела на лежащего с закинутой под голову рукой сына. Глаза его были закрыты словно он загорал.

— Ты здесь? Что делаешь?

— Сплю, мам! — ответил сразу и недовольно.

В ответ она посмотрела на шкаф.

— Ясно, а я думала ты еще в школе.

— А зачем тогда в дверь звонить?

— Ух, недовольный какой! Как бабка сварливая! — мать отпустила дверь и ушла.

Саня остался лежать с закрытыми глазами, с напряжением вслушиваясь в шаги матери, грохот створок шкафа в коридоре, звон посуды, но в первую очередь Саня слышал мощные удары собственного сердца, как будто внутри били по боксерской груше.

Настя сидела в шкафу. В этом было что-то страшно забавное, дурацкое, старое, из несмешных анекдотов про неверную жену и мужа, вернувшегося из командировки... Но смеяться не хотелось. Хотелось срочно пойти в душ.

Прорвало их на улице, куда они вывалились, с грохотом раскидав двери подъезда — Саня смеялся в голос, Настя от хохота тряслась и повизгивала. В шкафу! Господи! Я сидела в шкафу! Саня! А что дальше будет? Скалкой буду тебя мутузить? Вот это отношения у нас! А на балконе? В следующий раз я хочу сидеть на балконе! И снова приступ смеха. Мать с пятого этажа могла услышать и выглянуть из окна, но им было уже все равно. Саня гнулся пополам, ноги заплетались, Настя вытирала слезы. Продолжая смеяться, дошли до магазина в торце их длинной девятиэтажки. Саня чуть не вляпался в грязную лужу, его за локоть поймала Настя: «Ну все, хватит, Сашк, я больше не могу, лучше скажи, куда мы теперь? У меня бабушка дома, и брат уже пришел, наверное...» Саня обнял Настю за талию и повис, продолжая нервно посмеиваться.

На автобус решили не садиться, прошли три остановки пешком, до площади Сенной, до кинотеатра Печоры, величественного, как угловатый Сфинкс, как древний бастион из стекла и бетона. Он стоял недалеко от трамплина на пустынном пригорке, и ветер с Волги выстужал подходящих, вторгающихся в его владения зрителей... Саня с Настей придумали пойти на «Терминатора-2», он шел здесь много месяцев, но как раз закончился... Говоря это, полная, похожая на массивного африканского носорога, с пепельной пушистой шалью на плечах и с замотанными колготками кряжистыми больными ногами кассирша кинотеатра — то ли жаловалась, то ли ругалась — не разберешь. Под бетонными гранями столбов и размашистых перекрытий, под многометровыми листами выстуженного стекла она выглядела как раненый воин, оставленный сторожить сооружения, захваченные ушедшей к новым рубежам римской армией... Тетка закрыла за ними двери из толстенного стекла и крикнула что-то вроде: и нечего тут шляться! кина нету! а скоро вообще закроемся, езжайте обжиматься в центр!

Обжиматься? Она сказала *обжиматься*? Это из какого века слово? — Саня с Настей засмеялись и обнялись.

Они перешли у автостанции дорогу, зашли в случайный подъезд дома на Радужной, Саня хотел, как он умел, отжать магнитный замок, но здесь подъезды были еще без домофонов и они уединились за второй входной дверью, под лестницей, у раскаленной батареи, к которой если прислониться без куртки, жечь начинало через десять секунд... Здесь было совсем темно, пахло горячей пылью, паклей от батарей, отсыревшим войлоком, густо, по-животному, тянуло из подвала гнилой водой и крысами, но влюбленным было все равно. Саня обнял Настю сзади, она повалилась на него, прижав к батарее, приятно вдавившей горячие зубцы ему в спину. Они постояли несколько минут просто обнявшись, чувствуя ногами, как толщу жаркого темного воздуха прорезают тонкие струи сквозняков, идущих из щелей разбитых дверей. Затем Саня ощутил, что плывет, что у него кружится голова, от жара, от душного запаха, от близости любимой Настьки, от налитой до каменной твердости плоти, готовой порвать штаны. Вдруг он прильнул к ней сзади сильнее, нащупал ногами ее ноги, прижался грудью и даже через куртку почувствовал извивающуюся пунктиром позвоночника ее изящную спину, ее дыхание и влажный жар в путанице волос за ухом, куда он уткнулся, зарылся. Саня аккуратно, как будто у них это было впервые, засунул ей руку под куртку, сначала вверх, а потом направил ладонь вниз, и скользнул под джинсы, сразу ощутив теплый нежный тонкокожий ее живот, тут же откликнувшийся на прикосновение, подобравшийся, вдохнувший... Саня медленно повел руку вниз, по этому плоскому и сначала гладкому, а затем чуть заметно шершавому пространству его абсолютного счастья, пока средний и безымянный пальцы естественным образом не соскользнули с узкого обрывчика в самом низу, тут же сделавшись влажными и горячими. Его рука была кончиком кисти, а она — баночкой волшебной, дышащей, искристо-солнечной краски, которой они намеревались сначала набросать черновое настоящее, а потом старательно и филигранно вывести идеальное общее будущее.

Дверь в подъезд открылась, морозный воздух ударил в них, как снежная лавина, и вошла высокая худая женщина, похожая в прямоугольнике меховой шапки и в длинном расклешенном пальто без пояса на темную хвостатую комету. Ребята замерли, женщина толкнула ногой вторую дверь, затем остановилась, чтобы придержать ее от хлопка. Она многозначительно смотрела на них и взгляда не отводила пока всходила по лестнице, и было видно, она что-то хочет сказать, что-то вертится у нее на языке... Саня и Настя глаз тоже не отводили, нагло смотрели в упор. Глаза их блестели из темноты и говорили без слов — что-то вызывающе дерзкое, что-то бесстыдное, очень юное.

Вечером потеплело, декабрь показывал чудеса миролюбия, cнега не было, зато стояли сильные туманы, смягчая воздух, насыщая его влагой, прокладывая город невесомой ватой, как елочные игрушки в коробке. Проводив Настю, она жила в новом строящемся микрорайоне Верхние Печеры, нацеловавшись до красного пятачка вокруг губ, до лужицы влаги в штанах, так, что Настя как в глиняной форме на нем оставила свой душистый соломенный от волос отпечаток, Саня вернулся домой, с улицы заметив, что света в окнах нет, и это было странно, потому что родители должны быть дома. Он позвонил в дверь, услышал в пустом коридоре внутри привычную соловьиную трель, но ему не открыли. Тогда Саня с трудом, двумя пальцами, вытащил ключи, как обычно завалившиеся за подкладку куртки, и проник в квартиру. Сначала ему показалось, что дома действительно никого нет, кроме тревоги, сидевшей в черных тенях по углам, но затем он услышал на кухне, дверь в которую была прикрыта, звон тарелок, а в родительской комнате тихий надсадный плач. Саня быстро разулся, скинул куртку, и на цыпочках зашагал по длинному коридору, в конце которого на него бросилась высокая темная фигура — отражение в зеркальной двери встроенного шкафа. Он зажал ладонью щель, где соединялась дверь с косяком, мягко толкнул, чтобы она не скрипнула и оказался в своей комнате, тут же заметив, что в ней что-то не так.

Мама заходила и хозяйничала у него крайне редко, но бывало, когда пылесосила или мыла полы, а заодно собирала со стола чашки с окаменевшими остатками чая или вернувшейся в исходное состояние кофейной гущей, заправляла диван с перекрученными простынями, как будто на них разворачивалась бронетехника. Что-то не так, сразу почувствовал Саня, быстро привыкнув к полумраку комнаты в жидком мертвенном свете фонарей за окном... Линолеум и правда блестел чистотой и по краям, где тряпка делала виражи, остались влажные следы. Древесно пахло хозяйственным мылом. Диван был заправлен и торчал непривычно ровным сугробом под незнакомым покрывалом. Шкаф-стенка, по цвету и фактуре напоминающая плитку темного шоколада, празднично сверкала отполированными стеклами. Стол, стоявший поперек комнаты у самого окна, как причесанный на торжественную линейку первоклашка кичился ровными стопочками тетрадей, и полосатых клеенчатых, и зеленых бумажных, собранными в пучки в карандашницах ручками и фломастерами, и особенно вызывающе гордился стол вымытым до блеска оргстеклом на столешнице, под которым Саня хранил черно-белые фотографии себя, друзей, одноклассниц в коротких юбках вперемешку с вырезками из журналов Брюса Ли, Чака Норриса и Саманты Фокс.

Саня поднял взгляд выше, словно его притягивала некая направляющая на потолке, и вдруг увидел — знакомое и родное, от вида чего екнуло сердце, висело в центре комнаты. Сделав шаг в сторону, он щелкнул выключателем и почти сразу же, как желтый свет затопил комнату, его лицо жаром залил алый, а еще через секунду бордовый цвет. Покрасневший, как рак, от стыда и гнева, Саня бессильно и жалобно смотрел на висящий на люстре крохотный лоскуток его любви. Это были красные Настины стринги, к тому же, отчего его еще раз окатила ядовитая смесь омерзения и стыда, они были в пятнышках засохшей влаги.

Сдернул их, скомкал в кулаке и бессильно плюхнулся на диван. Полежал минут пять с закрытыми глазами, затем раскрыл ладонь и вдруг уткнулся носом в красный лоскуток на безвольных ниточках, как будто хотел показать частичке своей девушки, что он ее не стыдится, он с ней, не предал.

— Да пошли вы все в жопу.

Сказал Саня тихо, хрипло, обращаясь, видимо, ко всем родителям мира, но пока, в эти первые минуты, не понимая, как ему справиться с новой проблемой — когда мама (или отец тоже?!) знает, *чем он тут занимается*. Что делать? Нападать? Сделать вид, что ничего не было? Или выйти с открытым забралом: что ужасного в том, что половозрелый сын, который сходит с ума по утрам от изматывающей эрекции, пригласил *к себе* в комнату девушку. И не просто, а *любимую* девушку! Мысли сумбурным потоком проносились у него в голове, неоформленные, разгоняемые обжигающей обидой, но вдруг все закончилось. На кухне что-то громыхнуло, лязгнуло, и тут же задребезжало, рассыпавшись по полу, затем зазвенела битая посуда и раздался вскрик, тут же превратившийся в ругань и громкий плач, ­­— это была мама. Она жалобно выла и громко и пронзительно вскрикивала, тут же срываясь на яростные причитания, до Сани доносилось: «За что-о?! За что-о?! Скотина! Изверг! За что мне это? Разве я заслужила! За что?!» и как обычно, когда родители ругались, Саня цепенел, замирал, превратившись в большой хрустальный предмет, в котором с болью отражался каждый и звук, и вскрик.

В ответ на истерику матери вскинулся быстрый возмущенный басок отца, но было непонятно, он ругается или жалуется, обостренный слух Сани улавливал что-то вроде: «Что ты, дура, творишь? Оставь меня в покое! Дай посидеть нормально! Хватит истерить!», но глухой барабанный бой голоса отца был прерван новым грохотом, судя по всему, мать бросила что-то в мойку, и оно разбилось, а затем саданула кухонной дверью так, что вздрогнула вся квартира, а с антресолей, как предполагал помертвевший Саня, с гулким хрустом на пол упала банка маринованных помидор.

Быстрый стук шагов по коридору, в такт им громкие всхлипы, — и наконец, мать скрылась в спальне напротив Саниной комнаты и еще раз со всей силы грохнула дверью, после чего затихла, но через минуту послышался протяжный плач, болезненный, отчаянный, прерываемый судорожными вздохами. Саня почувствовал как будто удар под глазными яблоками, внутри, слезы готовы были хлынуть; в такие моменты острой боли за мать он порывался пойти и избить пьяного отца. Вялого как медуза, осоловевшего, жалкого. Саня вскочил с дивана и бросился в коридор — но не побежал на кухню к отцу... а медленно пошел в спальню.

Он вошел и встал в углу, у двери, не смея подойти к матери, стараясь даже не смотреть на нее, хотя успел заметить, что она сидит в кресле, с раскрасневшимся лицом, сморщенным, изуродованным гримасой страдания. Мать держала на коленях газету, привычную «Комсомолку» и, склонясь над ней, пыталась сквозь слезы читать, будто этим любимым занятием, читать по вечерам в одиночестве и покое свежий номер, хотела сбить истерику, рыдания, дрожь. Но конечно не получалось, мама продолжала плакать и от соленых слез жмуриться, и они капали на газету, она пыталась их смахнуть и на страницах появлялись серые полосы.

Саня открыл шкаф, выдернул из середины стопки глаженого белья желтое вафельное полотенце с нашитой петелькой для вешалки.

— Мам, на... Не плачь, мам... — и тут же снова отступил к выходу, будто боясь, что мать нападет на него. В такие моменты она была опасна — могла накричать, оттолкнуть. На этот раз лишь произнесла сквозь утихающие слезы:

— Меня ладно! Плевать! Вас-то за что! За что вас с братом уродует?! Разве можно пить, когда у тебя два парня растут... Это преступление! Он преступник, преступник! Вы-то хоть не смотрите... на него! За что мне все это? — мать кричала высоко, срываясь на неприятный писк, но тут же понижала голос, продолжая надрывно, — Он же не был таким никогда! Он был добрым, светлым, умным... А не этим! И вы на это смотрите!

Мать говорила так, будто старший брат Андрей был здесь, дома, хотя вот уже год он в составе Западной группы войск выводил советскую военную технику из Германии.

Скомкав полотенце, она промакивала щеки и подбородок, ее кожа стала красной от слез, а глаза совсем заплыли, превратившись в опухшие щелочки. Саня услышал на кухне резкий и страшный звон стекла и тут же рванул туда, ему вдруг показалось, что отец может поскользнуться, упасть, пораниться, как однажды он в таком состоянии прищемил дверью в подъезде палец, содрав с кончика мизинца кожу — кожаный колпачок.

Дверь на кухню была приоткрытой, от рифленого стекла откололся кусок и осколки поблескивали у порога. Не трогая дверь, осторожно, как на месте преступления, Саня заглянул в кухню — света не было, качался разбитый плафон. На полу прямо за порогом в луже действительно лежала кучка помидор с лопнувшей кожурой вперемешку с осколками стекла. Саня перевел взгляд вглубь кухни и увидел на полу большую эмалированную кастрюлю с рассыпанными вареными рожками, рядом лежала, медленно перекатываясь, перевернутая крышка. Дальше он увидел несколько белых с синим узором разбитых тарелок, рядом лежали раздавленные и успевшие сваляться в пыли и стекле котлеты, к дальней стене откатилась разинувшая рот поллитровая баночка с кабачковой икрой, у плиты на коврике из свежей пены лежала зеленоватого стекла бутылка из под пива. В центре этого бедлама на полу, прислонившись спиной к угловому диванчику, сидел отец — в семейных трусах, задранных на его бледных с синими венами худых ногах, в белой майке, на которой в районе живота расплывались влажные цветные пятна. Большая голова отца лежала на груди, неестественно натянув бледную синюю шею. Мягкие светло-русые волосы на его голове свалялись в пушистую горку тополиного пуха, и она торжественно горела в мертвенном свете из окна, делая картину жуткой, сюрреалистичной. Саня завороженно смотрел, где-то внутри него клокотала смесь ужаса и отвращения. Отец вдруг коротко то ли замычал, то ли застонал, шевельнул крупной, сильной, опутанной толстыми венами лежащей на полу рукой, и сначала еле слышно, а потом все громче и громче захрапел...

Саня отступил назад в темный коридор. И вновь почувствовал где-то за глазными яблоками режущий удар, предвещающий слезы, — до того было жаль отца. Увиденное, как любимый отец валялся на полу среди макарон и битого стекла, было не только гадким и страшным, но главное несправедливым по отношению к нему настоящему — умному, сильному, порядочному, лучшему на свете отцу! Сане вдруг захотелось закричать, побежать, найти и наказать всех, кто довел батю до этого скотского состояния, кто причастен к такому его унижению! А потом смело войти в кухню и отца поднять, подхватить под руки, взвалить на себя, потащить, а если не хватит сил у него, юного Сани, на большого тяжелого отца, тогда опуститься и сесть рядом прямо в грязь и осколки и обнять, расцеловать, заплакать вместе, чтобы отцу не было больно и одиноко... В такие моменты с самой недостижимой глубины растущей Саниной души поднималось еще одно чувство, страх... То, чего они с матерью боялись больше всего на свете, но что трусили даже обсуждать, и к чему неизбежно вели подобные сегодняшней сцены. Этот древний ужас был настолько пугающим, чужеродным, а его касания изнутри ледяными и жуткими, что и сейчас Саня его подавил, отбросил, внутренне отмахнулся. Только слезы защекотали нос, Саня сморщился, они все равно потекли... Но нет, он не захныкал, не скривился. Он сидел в комнате и думал, что нужно все-таки пойти, поднять отца, отнести в комнату, уложить, а то ведь поранится. Но Саня не мог ни решиться, ни шевельнуться.

Незаметно для себя уснувший от нервного перенапряжения Саня вздрогнул и проснулся от грохота в коридоре. В первые мгновения даже не понял, где он, кто он, какое время суток и что это за мир, в который он попал, но вскочил и сел на кровать... Еще раз грохнула разбудившая его дверь на кухне и судя по опасному звону стекло все-таки выпало из нее целиком... Пьяный, но сумевший подняться на ноги отец, шел по коридору, шатаясь и громыхая створками шкафов, которые тянулись по левой стороне; он опирался на них рукой, и они гремели, как кровельное железо, только дерево. Шаг, грохот, еще неверный шаг, снова грохот, и еще шаг... За окном была глубокая ночь.

Поравнявшись с Саниной комнатой отец вдруг резко стукнул в дверь костяшками кулака — раз, два. Саня было подумал, что отец перепутал дверь, но вдруг услышал очень пьяный, смазанный, мутный голос:

— И ты это, мля, смотри у меня тут, в моем доме... будешь еще шлюх своих водить, сосунок, мля... — он как будто мяукал, не в силах ни выплюнуть, ни прожевать что-то мерзкое в своем рту, — Мал еще, мля... Хоть копейку бы заработал, дармоед...

Он еще раз стукнул кулаком в дверь, но получилось по касательной, чиркнуло, и отец ввалился в дверь с другой стороны коридора, его будто всосало туда без следа, потому что в квартире сразу стало удивительно тихо.

Саня пролежал с открытыми глазами до самого утра, пока не увидел, как мельтешащая быстрыми червячками темнота не начала редеть, рассыпаться, превращаться в белый твердый потолок.

Он слышал, как в глубине комнаты напротив приглушенный двумя закрытыми дверьми очнулся и подал тонкий пронзительный голос старый, еще бабушкин, механический будильник. И быстро смолк. Из комнаты быстро и, как показалось, лихорадочно бодро вышел отец, как обычно, без тапочек, стуча голыми пятками по полу. Защелкали выключатели, захлопали двери туалета, ванной, зажурчала вода, проснулся и начал возмущаться шипящий, как кот, чайник. Раньше, когда Саня был маленьким, все утро гулко и мелко жужжала электробритва. Но потом появился «Жилетт, лучше для мужчины нет...» Когда отец собрался и оделся, повесил длинную железную ложку, звякнувшую об вешалку, застучали каблуки ботинок, из комнаты вышла сонная, в ночной рубашке мать — чтобы закрыть дверь, потому что потом заснет. Саня слышал все это в стотысячный раз, а потому видел, почти осязал.

— Деньги на столе, — сказал Лусканов отчетливо деловым голосом.

Хлопнула входная дверь и Саня наконец вырубился, заснул. Мать почему-то не будила его и не звала завтракать, не гнала в школу, где уроки начинались хоть и поздно, но Саня умудрялся и на них опоздать. Когда он заставил себя проснуться, умыться и притащился на кухню — там было очень чисто, свежо, светло от новой лампочки, хоть за окном ворочался темный декабрь, а на столе под полотенцем остывали сырники, мать сидела на табуретке у окна и в бабушкиных роговых очках читала газету.

Саня шепнул «Мам, привет», налил теплого чаю в бокал, но мать не обратила на него внимания, как будто он был во всем виноват.

Саня пил большими глотками чай, закусывая сладким ванильным запахом сырников, сразу проснувшись он никогда не ел, аппетит надо нагулять.

— Ты сегодня можешь вечером дома побыть? — вдруг сказала мать, отложив газету и складывая очки в футляр.

— Во сколько?

— В четыре. Я поеду к Маше, соседке по саду, она говядину где-то в деревне отхватила, поделится... А к нам рабочие приедут.

— Какие рабочие?

— Отец ставит новую дверь... железную. Какую-то тяжелую, с гаражными замками, говорит... Будут поднимать без лифта, всемером... сваркой варить...

— Ладно. Приеду к пол четвертому...

Саня откинул уголок полотенца, под которым как цыплята сидели ярко желтые горячие сырники, правильные аккуратные кругляши. Мать не уходила, сидела, сунув руки между колен, смотрела куда-то поверх плиты задумчиво.

— Дела на работе у него не очень... Надо обезопасить семью. Начальник в главке, Царев есть там такой, какие-то махинации проворачивает... приватизируют складские помещения по всей области, а Володя как зам бумаги подписывает... за него... — мать говорила ровно, холодно, как заученное. — И вот сорвался вчера...

— Ясно, — сказал Саня, явно не желая слышать продолжение.

— За нас ведь сердце у него болит... Тяжело ему. Надо понимать...

— Я понимаю, мам. — Саня встал, поставил бокал в раковину, хотел было идти в комнату одеваться, но увидел, что мать — впервые за утро — смотрит на него.

— Он хотел чтобы ты зашел к нему поговорить.

— Кто? — глупо спросил Саня.

— Отец твой. На работу к нему. Сегодня или завтра...

— К нему зайти поговорить? — Саня был напуган, — По поводу хоть?

— Не знаю. О жизни.

— О жизни? — Саня презрительно хмыкнул.

— Лучше завтра, наверное. Позвони и зайди.

— На Лядова?

— Да. После обеда.

Только по дороге в школу Саня догадался, что отец хочет высказать ему по поводу найденных трусов Насти, начнет рассказывать про секс, беременность, презики... Что-то такое. Про ответственность. А может стыдить будет! А еще про деньги начнет, про работу, хотя какая работа, он школьник еще... Но нет, отец же сам *с шестнадцати лет зарабатывал!* Саня почувствовал, что ужасно боится этого разговора, буквально тру́сит, даже в груди затрепетало забилось холодное... Тут же мысль появилась не пойти, проигнорировать, как-то потянуть время, спустить на тормозах. Но тут же понял, что нет, он так не поступит, не его это стиль — показывать, что боится.

Вечером Саня забыл напрочь и о встрече, и о страхе. Вернувшись с работы, трезвый, серьезный, отец зашел в комнату и сам сказал, чтоб завтра заглянул к нему. Надо поговорить. На свежую голову. В деловой обстановке.

В середине декабря в Нижний приехала делегация каких-то важных американцев, городские чиновники забегали, как ошпаренные, зарубежные гости намеревались посетить и Настин инъяз, он же Лингвистический институт, ННГЛУ, и там готовились, как к царскому балу в Зимнем дворце и в этом аврале Настя потерялась. Лускановы жили без телефона, несмотря на высокую должность отца и работу его, как говорила мать, *в строительстве*, они бесконечно стояли в очереди на установку телефона, но на местной подстанции не хватало каких-то линий и подключений... Ходили звонить к соседям, а Саня бегал к Марату, бывшему однокласснику брата, татарину, добряку и «жиртресту», желтый заляпанный кашей телефонный аппарат которого постоянно с тумбочки сбрасывала овчарка Найда. Саня звонил. Но Насти не было дома.

Наверное, толщиной с Марата или все-таки меньше, — думал Саня, разглядывая массивные металлические опоры телевизионной башни из-за высокой черной ограды Телецентра. Выкрашенная матовой красной краской башня завораживала — и ее мощное трубчатое основание, будто спрут запустил щупальца глубоко в землю, и ее парящее тело с нанизанными как овощи на шампур площадками для гроздьев приборов, тарелок, антенн. А если посмотреть на основание и затем неспеша провести взгляд по одной из опор до самого верха — до стройного вытянутого шпиля и так постоять, запрокинув голову максимально вверх, то приятно закружится голова, возникнет ощущение, что ты паришь в окружении облаков там, в вышине, вместе с башней, и твое расслабленное лицо не более чем простодушная круглая тарелка, ведущая прием незримых радиоволн небесного эфира.

Глаза Сани напитались ярким серым рассеянным светом. Башня и правда плыла. Девятиэтажный административный корпус Телецентра из красного кирпича напоминал гигантскую трубу русской печки. Два часа дня. До отца, до площади Лядова отсюда рукой подать. Но пойти сразу, чтобы принять наказание без лишних отсрочек, не хотелось. Хотелось чуть потянуть. Саня чувствовал (или надеялся?), что этот разговор разрешить может многое, способен в корне изменить его отношения с отцом — окончательно разрушить или вывести на новый уровень. Хотя... казалось бы... какой может быть новый уровень в *этих* отношениях — скупых, зажатых, взрывоопасных... Зато Саня четко знал: если отец хоть словом притронется к Насте, если заведет речь о постыдности того, *чем они занимались*, если покусится задеть его чувства — мало не покажется. Драться они, конечно, не станут. Просто у отца больше не будет сына, человека, который ему доверяет. Саня этого не простит.

Грохочущий безумный желто-красный трамвай яростно, как ужаленный, завопил звонком. Саня не отскочил, лишь отступил назад, увернувшись и от тронувшейся на светофоре «копейки». Трамвай скрежетнул по рельсам клыками колес, вильнул задом и полетел, обгоняя «копейку» с гвоздиком деда за тонким рулем, уменьшаясь, напоминая посреди осенней серости яркую игрушку.

«Средной рынок», где Саня решил прогуляться и набраться решимости перед тем, как двинуться к отцу, кишел народом. Темнокурточная масса толкалась между лотками с китайскими трусами-майками, испачканными вонючими химическими принтами, и прилавками с неприлично оранжевой окаменевшей хурмой. Пахло кожей, фруктами, из глубины рынка тянуло мясом, мороженым салом. Колонны высокой арки на входе в рынок были заклеены объявлениями как неряшливая рыба мятой чешуей. Обмен валют, ксерокс и печать, телемастер, покупаем волосы, дорого иконы, самовары, продам дом, пуховики опт, компьютеры сборка, сауна, девочки, отдам котят — воображение рисовало самые причудливые картины, связывающие ксерокс и валюту, пуховики и волосы, девочек и опт, сауну и котят. Особенно волосы. Горы серо-бурых грязных волос, где-то Саня эту картинку видел, в хронике какой-то... Здание рынка было похоже на крепость, правда, наверху вместо лучников и тех, кто льет на штурмующих раскаленное масло, сидела администрация рынка и в бухгалтерии без остановки жужжали и потрескивали суетливые матричные принтеры.

Покрутившись под аркой, Саня прошел было внутрь, но напротив входа у ларька с вывеской «Обмен валют» терлись сутулые ребята полууголовного вида в высоких норковых шапках. Пощелкивая задубевшими подошвами ботинок, они тут же цепанули Саню крючками-взглядами. Молодой парень в модных джинсах и белой рубашке под приличным пиджаком в дорогой дубленке с меховыми отворотами (с отцовского плеча). «За кого они меня приняли? За фраера подгулявшего? За студента сынка при богатом папеньке? А я и то, и другое! Ха!» Саня двинул назад, отцепив от себя хищные крючки, зашел за здание рынка и увидел то, к чему неосознанно шел от самого Телецентра — аляповатую желто-зеленую вывеску на неказистом ларьке — «Горячие чебуреки». Тут же сладко и сытно — пахнуло! Переполненные промасленной бумагой урны, мокрые газеты, расстеленные перед окошком выдачи, откуда шел пар, очередь хмурых голодных людей, слякоть под ногами — все это было малоприятно, но запах жареного теста в кипящем масле тут же задурманил голову и уже начал раскручивать тугой вентиль аппетита где-то в глубине живота, так, что засочилась во рту слюна.

Золотисто-прозрачный с оранжевыми подпалинами лопнувших хрустящих волдырей чебурек источал запах умопомрачительный. Пытаясь надкусить, похрустывая тонким внешним слоем, ощущая под ним мягкую плоть большого чебуречного ушка, Саня отошел в сторону. Он хотел откусить твердый сухой кончик, но было пока горячо. Надо идти к отцу, а не жрать вредные чебуреки по грязным подворотням. Но его, как говорят пацаны, «пробило на жрачку», видимо, от нервов. Итак, надо надкусить-таки уголок, чтобы быстрее остыло влажно-мясное нутро чебурека, и Саня отставил руку, чтобы не дай бог не заляпать рубашку, и, уверенный, что весь жир стек вниз, жадно оторвал зубами острую хрусткую шапочку. Не тут-то было! Чебурек лопнул, брызнув раскаленной струйкой масла по подбородку. Саня стерпел и в этом же положении замер. Предчувствуя катастрофу, медленно опустил голову и посмотрел на грудь. На белой рубашке, прямо под воротником, красовался желтый след — капля масла чиркнула и отрикошетила. Делать было нечего и он, взяв в ларьке салфетки, и одновременно и доедая чебурек, и размазывая масло по рубашке, пошел к отцу, на круговую, похожую на пластинку, площадь Лядова.

Саня вошел, кабинет мрачно сверкал полированной мебелью, отец сидел за столом, читал документы, перекладывая листы. Здесь было настолько просторно, тихо и торжественно, а отец, услышав, конечно, как вошел сын, даже не поднял голову, что Саня не стал подходить ближе, а отодвинул стул в самом начале длинной Т-образной конструкции стола, и аккуратно, боясь даже скрипнуть, сел. Черные, квадратные, с золотыми стрелками, без цифр, лишь с четырьмя штрихами-отметинами на циферблате, мерно позвякивая секундной стрелкой, тикали часы. С улицы через большие, от пола до потолка окна сочился легкий морозный сквозняк и еле слышный гул автомобилей.

Отец читал. Когда с легким шелестом менял лист, Саня поднимал на него глаза. В кабинете пахло прохладой и как в любом официальном учреждении немного хлоркой, а еще хорошим отцовским одеколоном, в последние годы ему дарили красивые флаконы из-за рубежа. Саня посмотрел на свои безжизненные покрывшиеся красными пятнами руки и медленно убрал их под стол. Осматривать в кабинете было особенно нечего. Перед ним на лакированном столе разливалась причудливая лужица света из окна. Шкаф-стенка цвета мореного дуба была застегнута наглухо, на все пуговицы, даже на полочке в центре теснилось лишь несколько ежедневников и к ним стопочкой прижимались заметно потрепанные исписанные блокноты. За стенкой в углу запылившимся золотом рам стыдливо выглядывали снятые портреты, первым стоял кто-то лысый, был виден только край головы с ухом, за ним виднелось темно-серое плечо, за ним еще одно плечо с золотыми звездочками под красными кирпичиками. Саня даже не пытался определить, кто это был, крутились в голове похоронные фамилии: Андропов, Черненко... а еще весело всплыло в голове восклицание, смешное слово, похожее на название мыла — «Горби! Горби! Горби!» Повинуясь логичному вопросу, Саня поднял глаза и пошарил взглядом по белой стене за читающим отцом — и увидел: черная точка шляпки шурупа, на котором висело бледноватое пятно в форме прямоугольника, как раз под портрет... Интересно, почему отец никого не вешает? Кто у нас сейчас? И Саня, конечно, вспомнил Ельцина, здоровенного мужика, похожего на огромный шкаф, механически двигающего ручищами и ножищами.

Саня вздрогнул от неожиданности, когда отец схватил прочитанные листы, поставил их торцом, руками с двух сторон сбил в ровную стопочку, пару раз щелкнул ими о гладкую поверхность стола, чтобы подравнять, затем положил перед собой, взял черную толстую, будто надутую, ручку и поставил на нескольких документах подписи. Сын знал страсть отца до красивых представительских ручек, у него была и какая-то очень тяжелая из мрамора, был тонкий изящный дорогущий заграничный «Паркер», а еще толстая красная, металлическая, похожая на ракету... Отец любил и перьевые ручки, одна была с позолоченным пером, она оставляла на бумаге тонкую линию поблескивающих чернил, так выглядят реки с самолета. Личная подпись у Владимира Михайловича Лусканова являла собой чудо каллиграфии, и была похожа одновременно на пируэты в небе группы высшего пилотажа и на умопомрачительные вензеля оград старинных дворцов. Подпись начиналась с размашистой бури закругляющихся линий начальных букв, продолжалась нечитаемой, выбрасывающей петли вверх и вниз, пружиной фамилии, и в конце превращалась в путаницу росчерков, из которых вправо вбок вылетала острая линия и тут же разворачивалась и стремилась в обратном направлении, как бы перечеркивая все написанное, и наконец замыкалась в вензеле начальных букв, добавляя туда последний и единственно необходимый для окончательного совершенства вензель-крюк.

Закончив шумный росчерк довольным «хм-хм-хм» отец отложил подписанные документы на лоток в углу стола и наконец поднял глаза на сына. Саня, да и не он один, с трудом выдерживал проницательный разоблачающе тяжелый взгляд отца. Лусканов смотрел строго и по-начальнически требовательно, так, что Саня весь внутри сжался, замер, почувствовав, как масляное пятно на рубашке прохладно прилипло к его груди. Но вдруг отец улыбнулся. Улыбка у него была неожиданная, светлая, глаза его тут же загорались весельем, что моментально обескураживало собеседника — будто его сталкивали в нагретую солнцем воду.

— Ну? Физкультпривет? — отец вскочил из-за стола, энергично подошел к сыну, крепко пожал ему руку, хлопнул по плечу и тут же отошел к окну, где замер, и Саня заметил, что улыбка исчезла с его лица и настроение быстро вернулось к прохладно-деловому, — Как школа? Надо дожать уже школу... — хмыкнул и резко обернулся на Саню, стоящего по стойке смирно.

Саня пробормотал, что все нормально, дожимает, да и учебы уже почти нет, постарается аттестат без троек... Здесь он замолчал, сообразив, что про тройки ляпнул зря, потому что в их семье «без троек» было сомнительным достижением — мать золотая медалистка и краснодипломница, у отца два высших образования плюс авиационное училище, которое по сложности в советские времена приравнивалось к третьему. Мамина золотая медаль, чистая и светящаяся, будто гравированная вчера, лежала в серванте в красной коробочке с мягким рубиновым нутром — вечным назиданием и упреком.

Отец заминку подметил, но лишь улыбнулся и вернулся за стол. Проходя мимо, взял за плечи, усадил сына, и лицо его снова стало серьезным, мясистым, с неотступной тенью деловитости — таким, каким его видели подчиненные с девяти до шести.

Лусканов сидел за столом и смотрел на свои большие оплетенные венами руки, что-то тяжело обдумывая или подбирая слова... Сейчас начнется. — подумал Саня, как-то сразу подобравшись, выпрямив спину, — И тут же закончится, — добавил твердо, почти вслух, и ему стало жарко.

— Куда поступать-то собираешься? — поднял глаза на него отец и выражение его лица было серьезным, но не жестким, а как будто сочувствующим.

Вопрос повис, Саня молчал.

— Так. Ты через полгода учебу закончишь, ты вообще думал, что дальше? Учиться, жениться... В армию идти...

Отец снова заулыбался, в такие моменты он был домашним, доступным, и потому выглядел странно в своем же кабинете.

— Смотри, — продолжил он серьезно, — Решать конечно тебе, но в армии сейчас полный беспредел творится... хуже чем на зоне... Брат здоровее тебя в два раза, да и в Германии еще куда ни шло. И опять же два года пропустишь, о высшем образовании можно забыть.

— Я бы у тебя поработал, пап, — вдруг сказал Саня и от неожиданности у него прыгнуло сердце, и не успев договорить фразу, он понял, что сказал какую-то стыдную неуклюжую глупость, признавшись в самых сокровенных мечтах... Кто? Он? Работал бы? Где? Здесь?!

Но отец, кажется, понял его правильно. Он улыбнулся, но это была не усмешка, на его лице появилось сожаление, легкая грусть.

— У меня? Ты думаешь — «в бизнесе у отца», наверное, да? Да я бы рад... Только нет здесь никакого бизнеса. Мне самому делать нечего, — он резко помрачнел и посмотрел на стопку подписанных бумаг, затем бросил ручку на стол и откинулся в кресле, — А скоро и в стране ничего не останется...

Последняя фраза была странной, Саня ее не понял.

— Понимаешь... — Лусканов коротко крутился в кресле, шарил взглядом по столу, иногда посматривая в окно, но не глядя на сына, — Не нужны этой стране квалифицированные специалисты... Стройки без нас обходятся. Все сломали, а нового не построили... Всех разогнали, а сами... Из песка строят, из брака, который на выброс всегда шел... Некондицию всякую используют. Вот я техническое заключение подписал, что материалы на стройку допускать нельзя, они то ли китайские, то ли вообще неизвестного происхождения, может, их из Чернобыля привезли... А в бетонной смеси... — Лусканов пальцем постучал по стопке листов, — ...там же цемента нет, один песок! Это, случись чего, уголовка, срок! Но писать им — что толку? Им строить жилой комплекс надо, им бумажка нужна, а не наши эксперты, мое заключение... Они прочитают и выкинут. Закажут нужную справку другому, не государственному предприятию, а коммерческой фирмочке... рога и копыта... их как грибов... И в другой раз ко мне не обратятся. И я потеряю заказчика, деньги. Но извините, я по-другому не могу. Не умею.

Отец замолчал, оборвав себя, заметив, что слишком увлекся.

— У меня Игорь последнюю неделю дорабатывает. — вдруг с какой-то несвойственной ему жалкой улыбкой посмотрел на сына Лусканов и зачем-то глянул под стол, как будто ему срочно надо было увидеть собственные ботинки.

— Уходит?

— Сокращаем... Денег нет совсем.

Саня заерзал на стуле, тот заскрипел.

— Сокращаем конечно не всех... Держимся. — отец бормотал куда-то под стол, как будто говорил что-то ужасно неприличное, постыдное, — Игорь работу себе найдет. Уже нашел... А вот работяг на Бору на базе и тех, кому до пенсии немного осталось... никого не трогаем. Ничего, как-нибудь прокормим! Хотя как загадывать... скоро приватизация, выходим в акции... Черти что.

Лусканов задумчиво, будто провалившись вдруг куда-то в глубину, поднял голову, посмотрел в окно и замер, его голубые глаза стали белесыми, а лицо бледным.

— Так! Ну ладно! Бизнесмен! — он вдруг очнулся, его лицо озарилось улыбкой, весельем, — Какой сейчас бизнес... У лотка стоять дисками торговать? Ширпотребом китайским, шмотками, трусами... Стекла на светофорах мыть? Компьютеры вон возят ребята на втором этаже... Этим будешь заниматься, Сашк? Сейчас только они, мелкие торгаши... Ты ж не директор, не комсомолец. Ну и бандиты. Но какой из тебя бандит? В людей стрелять ты не будешь.

Саня хохотнул, невольно подумав «откуда он знает?» и вдруг ему в кабинете отца стало тепло, уютно. Лусканов стал снова серьезным, замолчал. Затем вздохнул полной грудью, словно ему не хватало воздуха. Поморщился, сунул руку под пиджак, пытаясь что-то нашарить в левом кармане.

— На филфак пойду, пап. — вдруг сказал Саня с неожиданной для него твердостью.

— Так. Пед или... куда?

— В Лобач.

— Хм. Неплохо...

— Сдавать буду туда и туда, а там как получится. — совсем осмелел и разговорился Саня, — Хочется в Лобач, конечно, но Пед тоже ничего, там больше упор на педагогику... как бы...

— Как отчество у Грибоедова? — вдруг спросил отец.

— Что? У кого? — опешил Саня.

— У Грибоедова. Александра.

— Э-э... — Саня вытаращил глаза, — Александр... Сергеевич? Нет, блин... это же Пушкин! А Грибоедов... Александр...

— Сергеевич.

— Как?

— Так.

— Тоже? Как Пушкин?!

— Да! — и отец засмеялся радостно, как ребенок, — Потому все и путаются. Потому что они оба твои тезки и оба Сергеичи... Теперь будешь знать!

— Ясно. Спасибо! — сказал Саня и ему снова стало неуютно.

— Так. Ладно, сын, я тебя понял. — отец с шумом развел руки в стороны по гладкому лакированному столу, как будто раздвинул шторы, — Это хорошо, что ты определился. Я рад... Так. Ты домой сейчас? — отец давал понять, что аудиенция окончена и Саня тут же вскочил и шагнул к двери. Лусканов поднял трубку приемной:

— Людочка, Игорь внизу? Никуда не отъехал? Ага. — он положил трубку и подмигнул сыну, — Найдешь Игоря? Подбросит тебя. Прокатишься хоть... в последний раз.

Саня как любой мальчишка его времени обожал кататься на машине, даже если сзади, на пассажирском диванчике. И хотя ездил всего несколько раз в жизни, не мог забыть просторное пахнущее тканью, пыльным металлом и немного бензином нутро отцовской «Волги» с характерным дребезжащим урчанием, когда Игорь «давал газу». Это был настоящий восторг! Саня схватился за ручку двери, готовый бежать вниз к Игорю.

— Так. Деньги есть у тебя? — спросил отец и подошел к сыну.

— Ну... Есть, наверное...

Отец вдруг смерил его веселым взглядом:

— Ты совсем здоровый вырос, тебе надо одеться как-то... новые джинсы купить, плащ кожаный давай съездим присмотрим на выходных... Да и девчонки уже есть, наверное, так?

Отец снова подмигнул ему. Саня улыбался, счастливый от столь непривычной отцовской щедрости. На эмоции, на отношение. Хотя и плащ. Кожаный. Невозможно поверить.

— Так. И на курсы тебе же надо! Подготовительные... Там недешево, конечно, но что поделать...

Отец подошел к шкафу, скрипнул дверцей, нащупал плащ, достал из кармана пухлый кожаный бумажник, отсчитал несколько гнутых купюр, поставил на ребро на стол.

— Ну... про курсы дома поговорим. Там уже начались занятия? А чего молчишь? Завтра же иди и учись... Бизнесмен!

Отец хлопнул Саню по плечу, приобнял, Саня тоже хотел обнять его, потянулся, но вышло неловко, отец крепко погладил его по загривку и легко потрепал по голове.

— Все! Все! Иди! Работать надо! Гоша тебя ждет! Для тебя — Игорь! — отец говорил весело и громко, забыв, как только что откровенничал — нет никакой работы.

Саня вышел, задев ногой дверь, едва не споткнувшись. Он попрощался с Людой и отец услышал как сын бежит по лестнице вниз, шлепая с шумом, перемахивая по три ступеньки. Лусканов сунул бумажник обратно и хотел было закрыть шкаф, но вдруг заметил неладное — покрутил, повертел плащ, присел, посмотрел в глубине шкафа, но нет, бесполезно — пояса нигде не было.

\*\*\*

В июне было тепло, пыльно, на улице днем — уютно, как дома. До вступительных экзаменов оставалось полтора месяца. Саня от круглосуточной зубрежки совсем одичал, а список обязательной литературы застрял где-то на середине. Настя парню своему помогала, отличница, знающая два языка, за свои экзамены не волновалась и всегда была рядом. Тем более родители Сани приняли ее и пустили в дом — как «официальную» девушку! Первые визиты до поздна, а потом и ночевки сопровождались с их стороны такой застенчиво-серьезной церемониальностью, что каждый раз вспоминая те дни Саня с Настей не могли удержаться от смеха. Мама торжественно выдала им лучший в доме комплект постельного белья, в ванной выделила для зубных щеток «молодых» отдельный стаканчик, а отец, хоть и приходил выпившим все чаще, стал вставать на работу еще раньше, чтобы уж точно не пересечься на утреннем туалете с молодой красивой девушкой, которую он как будто побаивался.

Родители на удивление не мешали. Только иногда сквозь плотную пелену напряжения марафонца, бегущего последние километры до экзаменационного финиша, Саня слышал как мать по ночам тихонько плачет на кухне, замечал, что иногда по утрам отец выходит из дома в домашней одежде и идет не к дороге, чтобы поймать машину до работы, а уходит куда-то влево, за дом, и теряется во дворах. А пару раз он видел отца средь бела дня рядом с пивной у стоячего круглого столика в компании мятых мужичков с пузатыми кружками в руках — и это было настолько дико и непривычно видеть, и Саня настолько не понимал, как на это реагировать, что старался тут же эти картинки из сознания вытеснить. Сане казалось, что родители держались, откладывали семейные разборки, понимая, что у сына решающий в жизни момент... Но возможно они просто устали, а мать опустила руки. Она все чаще уезжала на несколько дней в их садовый домик в Афонино и все реже готовила для мужа и сына. Саня ходил голодным.

Но все чаще дни и ночи напролет они с Настей зависали в его комнате, на диване, в месиве из простыней, одеял, подушек. Тут и там валялись конспекты, блокноты, книги, из-под подушки выглядывал вечно сонный Обломов, в горном массиве мятого одеяла затерялся вольный Лермонтов, декабристы, собранные в одном томе, канули в глубоком руднике пододеяльника, Каренина лежала под диваном как под поездом. Иногда, конечно, Саня с Настей занимались сексом, молодым, ненасытным, упругим, — на этих же простынях, сдирая их тонкую грибную кожицу с проплешин дивана, и книжки Саня, когда успевал, убирал, — перед классиками неудобно.

Саня как будто варился в жарком, душном, пропитанном потом, буквами, бессонными ночами, ласками и поцелуями котле... Они с Настей не ходили гулять или купаться, не ездили в лес или в центр города в кино, а в последние недели перед экзаменами Саня старался вообще не выходить на улицу, даже в магазин, он знал, что там, снаружи, лето-жара-июль, и он боялся сорваться, пойти на пляж, взять пива, расслабиться... Он одичал. И даже стал редко мыться, из-под палки стирался, со скандалом удалось его затащить в парикмахерскую. Но незаметно, как все бесконечное и невыносимое, самоистязание кончилось, — из душного рудника Саня вышел на улицу, направился к автобусной остановке и вдруг понял, что идет на последний экзамен лета. Через несколько часов все закончится. Все. Точка. А там уже пан или пропал. И начнется что-то новое. И может быть это будет Университет имени Лобачевского. А может и нет. Гадать уже не было сил.

У Насти в тот день был тоже экзамен и тоже последний, но она сдавала все на «отлично». Скучно. Никакой интриги.

К двум часам дня Саня освободился, с отчаянной обреченностью он пошел сдавать одним из первых и ему повезло. В билете по русской литературе достались не «Повести временных лет», не Сумароков и XVIII век, не Гиппиус и «женская лирика», не бурные шестидесятники или многочисленные «поэты фронтовой поры», а ясные, вечные, родные «Братья Карамазовы». Их Саня читал, знал, любил, помнил демонический прищур жуткого брата Ивана, похожего на Берию, рыдал в конце книги, когда на каторгу забирали Митю, а еще там был самый лучший, самый добрый брат Алеша, и святой, который «провонял»... Саня отвечал по билету вдохновенно, уверенно, дополнительных вопросов не задавали, остановили и отпустили с миром. Оценки обещали огласить через три часа после окончания экзамена, ведомости будут вывешены на доске в главном холе Университета, где Приемная комиссия, или «позвоните в деканат, секретарь сообщит вам».

От старого корпуса Универа на проспекте Гагарина Саня решил пешком дойти до площади Лядова, пройти по тесной короткой улочке до площади Горького (еще одна круговая), там перекусить в Макдаке гамбургером за восемнадцать рублей со стаканчиком Фанты и «детской» картошкой фри, если конечно не будет очереди, спуститься по Свердловке, то есть теперь по Покровке, центральной пешеходной улице Нижнего Новгорода, и наконец выйти на главную площадь — Минина и Пожарского. А там у серо-черного здания Пединститута, математический факультет которого в свое время закончила мама, сесть на «рогатый» (троллейбус) и поехать в инъяз к Насте.

Саня шел через центр города и ему казалось, что он молодой великан и шаги его двадцатиметровые, тридцатиметровые — и он крутит под собой горячий, дышащий, залитый солнцем июльский город, который впервые за его жизнь распахнулся перед ним, расступился, как море перед Моисеем, и обрел и объем, и звук. Саня вдруг услышал голоса людей, разговорчики, вскрики, детский смех, щебет птиц, музыку из окон, рев разнокалиберных моторов и сигналы машин на проспекте Гагарина. Он увидел цвета, яркий золотой солнечный, насыщенный, словно масло, льющийся через сито деревьев, синее ровное молодое небо, черный запыленный как спина рептилии асфальт, желто-белые старые здания, щедро облитые солнцем, пепельно-белесые девятиэтажки, красные шортики девочки, скачущей по дорожке, зеленое платье рыжеволосой молодой женщины, синие джинсы ее мужчины, нежно-малиновую кофточку бабушки, выходящей из магазина... Саня вдруг почувствовал касания мира его коленей, рук и лица, нежный парусный ветер, пикирующий с вершин деревьев, горячий воздух с проспекта, а еще вдруг его ног коснулось легкое дуновение от прошедшей мимо в зеленом платье... Откровением ему раскрылись запахи: маслянистый горячий с дороги, пыльный полевой с тротуара, свежий дышащий тополей, источали аромат оранжевые цветочки в палисаднике сбоку от тротуара, с ними боролись духи-одеколоны прохожих. Все это через минуту смешает в единый летний коктейль идущая на них поливалка — рыхлый грузовик, «газик» с кургузым бочонком, льющий вверх из усов распадающуюся в бисер воду!

Город раскрылся перед Саней как разломленный гранат, брызнул и смел его потоком жизни, буйством многообразия... Наверное, это и называют счастьем, думал Саня, вот это, что приходит после труда и заточения, после несвободы школы и запретов детства, вдруг однажды летом обрушивается на тебя жизнь, бьет всеми красками и стихиями как ударяет волна в отвесный берег, и счастье, благо этого мира, голое, живое, трепещущее, ревущее, звонкоголосое, затапливает тебя по пояс, по грудь, по шею, и ты почти не можешь дышать.

У инъяза, где было столько красивых и шикарно одетых девчонок, как будто попал в центр Парижа, Саня, сам в новых вареных джинсах и моднейшей футболке «Lacoste» с крохотным вышитым зеленым крокодильчиком, выловил сдавшую вступительные Настю и они пошли к ней домой — родители уехали к друзьям на дачу в Зеленый город. До дома Насти можно было дойти пешком, она жила в центре, на Варварке. Оба устали и шли в обнимку, но даже не целовались, не разговаривали, а только улыбались и со стороны были похожи на молодоженов после длительного медового месяца, перенасыщенных друг другом, хотя на самом деле изматывающими голову и нервы экзаменами.

Пришли домой, Настя успела сделать бутеры с колбасой и сыром, заварить чай и себе какао с молоком, но даже не дождались, когда остынет, — как только повалились на диван, взявшись за руки, тут же оба вырубились.

Проснулись, спохватились, что все проспали и институты позакрывались, но нет, сон был сладким, глубоким, но недолгим. Оба бросились искать новомодную черную громоздкую трубку — у Насти был *сотовый телефон*[[1]](#footnote-1), и начали названивать в свои деканаты. В инъязе взяли трубку быстро и звонкий голос лаборантки под шуршание листочков ведомостей выдал Насте ожидаемое «Отлично!» Саня расцеловал свою умницу-отличницу и начал звонить в Лобач, тщательно нажимая на трубке цифры, записанные у него на подушечке большего пальца. В центре, под ребрами, где-то над желудком, снова заработал крошечный насос, вытягивающий изнутри воздух, знакомый любому, кто хоть раз в жизни сдавал экзамен.

Короткие гудки, там было занято, и занято снова, через несколько звонков Саня запомнил номер и набирал без шпаргалки. Серьезно посматривал на Настю, которая переживала и хмурилась. Наконец дозвонился. В груди загудела струна, под мышками выступил пот, из трубки пахнуло его же горячим дыханием. «Здравствуйте! Я такой-то. Сегодня сдал экзамен. Хотел бы узнать...» И в ответ: «Пока еще не сдали, молодой человек. Сейчас посмотрим...»

Женщина со статным голосом университетского старожилы положила трубку на стол и — не уходя далеко, где-то рядом, долго дышала, шуршала бумагами, пару раз что-то выкрикнула, послышались шаги, наконец взяла трубку, зазвучал ее голос, но... Какая-то чертовщина! Его фамилии в ведомостях не было. «Но вы не переживайте пока. Наверное лаборантка забыла вписать. У нас ничего не теряется. Все найдем. Перезвоните. А лучше продиктуйте свой телефон».

Саня замахал Насте рукой, показывая на трубку, она диктовала ему на ухо, он дублировал цифры. Женщина на том конце номер записала, повторила, извинилась, ее голос потеплел, обещала перезвонить... Саня отключил трубку большой красной кнопкой и выдохнул, и широко улыбнулся. У них ничего не теряется! Ладно, осталось недолго... Через минуту, две, пусть десять, пятнадцать, все, все, все, все — закончится.

Перезвонили тут же, через секунду, Саня не успел выдохнуть. Он резко схватил трубку. Открыл рот чтобы крикнуть «алло!», но услышал голос матери.

— Алло, Настя?.. Алло?... — спросила мама робко.

— Это Саша, мам, — ответил он гулким, летящим в пропасть голосом.

— У папы инфаркт. Он при смерти. В реанимации. Я с ним. Врачи говорят, шансов мало. Приезжай. Пятая больница. Реанимация... Там найдешь.

Эпилог

Шляпников наобещал рабочим УПТК «Нижегородстройресурс» золотые горы, бегал, суетился, ночей не спал, ездил на Бор, агитировал, устраивал собрания, в итоге работяги дрогнули. После приватизации у них на руках были акции, с которыми они не знали что делать. Их директор лежал с тяжелейшим обширным инфарктом. Доходы падали, ручеек зарплаты мелел. Шляпников размахивал пачками живых денег. И они сдались, и Лусканова предали. Кооператор лаской и пряником вытянул из них — скупил все выданные работягам акции УПТК, после чего уволил всех разом, в один день. Без компенсаций и выходных пособий. Деньги со счетов компании Шляпников вывел и спрятал. Работяги пошумели, покричали, в лобовуху новенького лупоглазого «мерина» Петра Васильевича прилетела бутылка из-под водки, но народные волнения быстро затихли, когда бывшим работникам стали звонить следователи районной прокуратуры.

Осенью Лусканов, сильно похудевший, но и посвежевший, с новым выражением испуганных глаз, в которых не было и следа былой начальнической жесткости и уверенности, после полугода сложной реабилитации — Нижегородский областной кардиоцентр стал родным домом — приехал в свой кабинет. Там, несмотря на появление нового полноправного собственника, ничего не тронули, даже не заходили. Правда, Люды уже не было, про нее говорили, что работает на «двойке» — второй городской маршрутке, кондуктором при водителе, деньги хорошие. Интересно, подумал Лусканов, зайдя в кабинет, она кактусы с собой забрала? Обманчиво пушистых белесо-сизоватых головок, скрывающих тонкие острые иглы, в приемной он не увидел.

Лусканов в дорогущем, привезенном другом Аликом из заграницы спортивном костюме «Adidas» с белыми лампасами, полдня просидел в кабинете. Он несколько часов перекладывал бумаги с места на место, двигал и проверял скрипучие ящики стола, будто там могло что-то за время его отсутствия появиться, осматривал стены, шкафы, подолгу смотрел на улицу. Как будто прощался.

После обеда пришел Шляпников, он был толще прежнего, протиснулся в дверь боком, раскрасневшийся, пышущий, дышащий, как скороварка, переполненный плохо скрываемым довольством, чувством хозяина, власти.

Отец потом рассказывал матери, что Шляпников вошел, встал в центре кабинета, улыбнулся, протянул толстую надутую ладонь и предложил Лусканову перейти на «ты». Лусканов долго сидел, глядя на вытянутую, как указатель далеких городов, руку, сидел и смотрел, но так и не смог заставить себя встать из-за стола, подойти. Хотя зла на Шляпникова не было, тот даже разок навещал его в больнице.

Через минуту стояния с протянутой рукой Шляпников вышел. А затем уволил генерального директора Владимира Михайловича Лусканова. И больше Лусканов его не видел. Хотя знал, что предприятие после его увольнения ни дня не работало — только он, дурак, своим умом, упрямством, связями по всей стране мог заставить УПТК, этого вымершего динозавра, барахтаться, зарабатывать деньги, кормить сто человек, брошенных государством, но не брошенных им. Шляпников уволил последних сотрудников, охрану, главбуха, вывез на самосвалах старую мебель, бумаги, архив — на помойку, после чего сдал помещения бывшего УПТК в аренду и так как площадь Лядова это престижный центр города, долгие годы неплохо кормился — и он, и его дети, и до сих пор, когда пишется эта повесть[[2]](#footnote-2), по реестру компания числится, аренда капает и доход получают, видимо, уже внуки.

На месте УПТК, в кабинетах седьмого этажа серо-черного здания с панорамными окнами, открылся сначала магазин элитной бытовой техники — темно-синие, цвета мокрого асфальта, как тогда говорили, микроволновки, прозрачные стеклянные чайники, высокие, как небоскребы, стальные холодильники, затем туда въехала шумная с разноцветными буклетами с пальмами и лазурными берегами турфирмочка, потом, кажется, этаж арендовало и закрыло на семь замков тихое незаметное модное в те времена «частное детективное агентство».

Мать за время болезни отца осунулась, похудела, даже, страшно сказать, постарела, но странно, в ней не было подавленности, в ее облике появилось что-то смиренное, но и светлое — в ее чистых черных глазах; в ее фигуре прочертилась гордая осанка, будто ежедневные поездки в кардиоцентр добавили ей героического ореола, как жене декабриста.

Саня переживал за отца страшно, постоянно о нем думал, почему-то винил себя, но ездил к нему редко, запрещала мать, зная, что отцу неприятно, когда родной сын его видит слабым, исхудавшим, измученным бесконечными процедурами. Сын мать слушал, да и у самого — тяжелейший первый курс, даже с Настей стали видеться реже, зато Гомера «Илиаду» и «Одиссею» новоиспеченный филолог знал, фрагментами, наизусть. И знал кто такие Эмпедокл и Аристофан, а еще того древнего поэта, от которого не осталось ни имени, ни даты, а только полторы оборванные строчки на глиняной дощечке. Учился Саня яростно, фанатично, и иногда у него мелькала мысль, что чем больше он боялся за отца, тем сильнее погружался в античность, старославянский, современный русский, вгрызаясь в литых из чугуна Вернадского, Гаспарова, Томашевского.

Настя училась ровно, сплошь на пятерки, собиралась на стажировку в Лондон, мечтала там присмотреть настоящее европейское свадебное платье: не русский самовар, а прямое, недлинное, обтягивающее бедра. Саня идею одобрял, но как-то неопределенно при этом улыбался.

Пожениться они не поженились, а в следующем году расстались. Правда, Саня к тому времени работал уже в Москве, в организованной вернувшимся из армии братом Андреем рекламной фирме, Саня занимался политтехнологиями, пиаром и выборами, филфак пришлось бросить, хотя книжки всю жизнь любил, читал. Настя встречала Рождество в Лондоне, в семье очаровательного, пусть и лысого, британца, который весной предложит ей руку и сердце.

В последний раз в жизни Саня увидит Настю, когда прилетит в Нижний на похороны отца. Она будет навещать родителей, которые не захотели уезжать из России.

Той осенью, когда отец выписался из кардиоцентра, старый еврей и опытнейший в городе кардиохирург скажет отцу, что после таких инфарктов люди живут пять лет, а там может грохнуть второй и уже последний. Категорически ни алкоголя, ни пива, ни сигарет, ничего жареного, соленого, тяжелого, как и нагрузок — никаких нельзя — умрешь.

Но отец, конечно, иногда выкуривал сигаретку другую, иногда брал пивка, да и сумки таскал, и в саду сам, один, строил маленький симпатичный, похожий на резную игрушку, домик. Знал, что ходит под занесенным молотом нового удара, знал, чем грозит любое бревнышко, рюмка перцовки, глоток «Окского», знал, но — с помощью тех же рюмок и глотков — об этом старался не думать.

Умер Владимир Михайлович, как и завещал доктор, от второго инфаркта — ровно через пять лет после первого.

Зимой и весной, когда отец выписался и ожил, стал веселым, много шутил, на радость воскресшей матери, когда Настя и Саня только начали учиться и были неразлучно вместе, занимаясь регулярным домашним сексом и у нее, и у него, когда вернулся из армии брат Андрей, но еще не угнал в Москву, чтобы перетянуть туда Саню, когда все были в сборе, единой большой семьей, выжившей в эти проклятые девяностые — тогда никто, конечно, не понимал, что это самое настоящее счастье, огромное, быстротечное. Такого единства никогда больше не повторится. Лебединая песнь семьи, в глубине которой жила любовь и когда вода становилась прозрачной проблескивало счастье.

Той весной Саня с Настей пошли на Речной вокзал смотреть ледоход на проснувшейся Волге. Толстые могучие льдины царственно, медленно, неостановимо, в окружении спутников помельче, двигались, текли, как панцири белых динозавров, опасно сближаясь и гулко сталкиваясь в водоворотах, хрустели как суставы, обдирая края, ломаясь пополам, а иногда и вскрикивали, трещали звонче, скрипели и скрежетали, наезжая, наваливаясь друг на друга как борцы на татами. Белизна слепила. Речной воздух был свежим, он будто тоже расцвел и пах жизнью, весной, хотя еще был прохладным, резким, игриво, как пушной зверь, ныряющим за воротник, в рукава.

Они стояли и смотрели на причудливо изломанные похожие на острова льдины, спешащие к морю, теплу и смерти, и вдруг Саня в полный голос запел:

— Над го-о-о-родом Го-о-орьким, где я-я-сные зо-о-орьки...

Но Настя закричала, засмеялась, замахала руками:

— Почему «над», Сашка! Там не «над», а «под»! Ты что? Ну? Как так можно?!

Саня смотрел непонимающими глазами. Настя схватила его за рукав, прижалась к нему и, глядя в небо над Волгой, раскачиваясь и раскачивая Саню, запела красивым девичьим голосом, растягивая, как положено, гласные:

На Во-о-лге широкой,

На стре-е-лке далё-о-кой

Гудками кого-то зовёт пароход.

Под го-о-родом Горьким,

Где я-а-сные зорьки,

В рабочем посёлке подруга живёт...

— Так что «под»! Вот оно — «под»! — Настя показала рукой в сторону заречной части, где лежало Канавино, а за ним Ленинский, Сормовский, Автозаводский районы, — Город у нас, Сашк, как ты знаешь, состоит из верхней части и нижней, центр наверху, а внизу раньше были только заводы да рабочие поселки... И человек, который сочинил песню, он наверху стоит и поет, что под ним ясные зорьки и подруга его в поселке живет, там, где-то...

Настя замолчала, посмотрела на Саню. Изо рта у них шел еле заметный пар, становилось прохладнее, смеркалось. Черная фигура собора Александра Невского, напоминающая шахматную, чернела все резче, отчетливее, становилась грозной. В еще зимнем небе таял короткий красноватый мазок скупого заката.

— «Сормовская лирическая», автор Евгений Долматовский... — продолжила Настя задумчиво.

— Сормовская? — встрепенулся Саня.

— Ага.

— Я вообще-то в Сормове родился. Там мама с родителями жила. На улице Баренца... А потом мы наверх переехали.

— Видишь, значит, ты родился под городом Горьким, а живешь над. Правда... города Горького больше не существует.

Ноябрь 2020 г. – декабрь 2022 г.

1. Так называли мобильные телефоны когда они только появились. Затем их стали называть «мобильными телефонами», «мобильниками», «мобилами», и это название держалось долго. Затем, когда кнопочные трубки стали уходить, новые называли уже – «смартфонами». Сегодня, в 2022 году, все эти названия исчезли, как почти исчезли стационарные телефоны. И мобильные телефоны теперь просто – телефоны. Захват слова «телефон» шел долго и окольными путями и наконец мобильная трубка отняла название у стоящего дома на тумбочке телефонного аппарата, который сегодня называют — «проводной телефон». [↑](#footnote-ref-1)
2. В 2022 году. [↑](#footnote-ref-2)